







ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

# ГЕРМАНИЯ

*ЗИМНЯЯ СКАЗКА*

Перевод и примечания  
ЛЬВА ПЕНЬКОВСКОГО

*Статья Г. Лукача*

АКАДЕМИЯ

1984

*Гравюры на дереве*  
*Г. А. Ечеистова*



Г Е Н Р И Х   Г Е Й Н Е



А С А Д Е М И А

**ГЕОРГ ЛУКАЧ**

**ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ**

*Громче бей в барабан, не робей,  
Целуй маркитантку и не грусти,  
В этом — всей науки секрет,  
Весь смысл книжной премудрости.*

*Бей в барабан и людей буди,  
Зорю ударь и дремоту рассей,  
Под дробь барабана бодрей — вперед!  
В этом — смысл науки всей.*

*Вся философия Гегеля в том,  
Всей книжной мудрости тут секрет,  
Я это постиг, потому что мудр,  
И мне барабанщика равного — нет.*

Гейне, „Доктрина“ из „Современных  
стихотворений“ \*.

\* Перевод Льва Пеньковского.



Самая крупная по размерам и самая замечательная поэма Гейне «Германия», написанная в 1844 году, завершает и увенчивает собою его публицистическую деятельность в парижском изгнании, в период между июльской революцией 1830 года и февральской 1848 года. В «Германии» он воспроизводит в совершенной поэтической форме все основные мотивы своей публицистики, своей борьбы за буржуазную революцию в Германии, своей неутомимой пропаганды французского образца — прообраза Великой революции

и Наполеона I. Это единство публицистики и поэзии заключает в себе нечто неожиданное только для узколобого буржуазного взгляда на литературу. Оно никого не удивляло в эпоху революционного подъема буржуазии. Публицистическая деятельность и художественное повествование сливаются воедино у Дефо, Вольтера и Дидро. И первый великий борец германской революционной буржуазии, Лессинг, заканчивает свою великую борьбу против реакционных религиозных предрассудков в Германии—важный этап в идеологической эмансипации буржуазии—драмой «Натан Мудрый». Как эта выдающаяся драма была, по остроумному замечанию Фридриха Шлегеля, последней главой в походе Лессинга против пастора Гетце, так «Германия» Гейне—последняя глава его «Французских дел» и публицистических очерков о Германии. И именно поэтому она представляет собою апогей также и поэтической деятельности Гейне.

Поэма «Германия» создавалась в исключительно благоприятных для Гейне политических и личных условиях. Июльская революция, как известно, оказала решающее влияние на развитие Гейне. Переселение в Париж явилось лишь последним выводом из этого внутреннего поворота. Крупнейший романтический поэт, каким Гейне был до июльской революции, вы-

растает теперь в крупнейшего со времен Лессинга немецкого публициста, в первого поэта современной эпохи, в величайшего до сих пор революционного поэта Германии. Из своего прекрасного далека Гейне неутомимо проповедует мелкобуржуазно-заспанной Германии пример революционной Франции. От первоначального сочувствия сен-симонизму он возвышается до сравнительно глубокого понимания коммунизма и тогда еще не связанного с ним рабочего движения, пророчески предвидя их неизбежное соединение в будущем. С большим знанием дела и редкой интуицией он разрабатывает историю буржуазной идеологии в Германии, все с той же публицистически-политической целью: извлечь из этой истории ее революционные тенденции и убить реакционно-романтические своей уничтожающей насмешкой. Он первый в Германии уловил революционную сущность, «эзотерически» таящуюся в гегелевской философии, поднявшись таким образом на высоту, которой радикальные младогегельянцы достигли лишь много лет спустя. (До материалистического преодоления гегелевской философии он, разумеется, не дошел; в этом отношении он никогда не мог возвыситься над кругозором буржуазной революции.)

Свыше десяти лет проповедь Гейне была **гла-  
сом** вопиющего в пустыне. Не только в Германии **плохо** понимали его мысли, но и буржуазно-

революционные эмигранты—и прежде всего Берне—стояли в этих вопросах на мелкобуржуазно-ограниченной точке зрения. Лишь в 40-х годах, когда Германия окончательно вступила на путь капиталистического развития, немецкая буржуазия начинает высказываться более ясно и решительно также и в идеологической области. И Гейне выпало на долю великое счастье как раз в эти решающие годы лично сблизиться и подружиться с Марксом. Эмигрировавший из Германии Карл Маркс основывает в Париже «Немецко-французские ежегодники», сотрудничает в парижском «Vorwärts», все время в теснейшем контакте с Гейне, который публикует здесь свои наиболее острые сатирические стихи. Эта дружба с Марксом вдохновила Гейне на его лучшее революционное стихотворение «Ткачи». И его «Германия» тоже без сомнения обязана этой тесной близости с Марксом своей необыкновенной ясностью и четкостью, хотя верно и то, что без тогдашнего подъема революционной волны в Германии поэма Гейне никогда не могла бы подняться до своих великолепных высот.

Борьба против романтики—такова основная проблема этой поэмы. И с этой стороны она является продолжением публицистической деятельности Гейне, который, как известно, посвятил одно из своих лучших произведений борьбе

с романтической школой в Германии. Борьба Гейне против романтики всегда была политической борьбой. Гейне преследует в романтике реакционный отклик Германии на французскую революцию и Наполеона, в романтиках—духовный авангард эпохи «Священного союза». Но в сороковых годах его борьба против немецкой романтики приобретает новое и усиленное значение. Вокруг нового прусского короля Фридриха Вильгельма IV группируются все реакционные силы Германии для последнего отпора грядущей революции, для защиты сгнившего реакционного строя Германии. «Эвотерическое» революционное ядро гегелевской философии открыто выступает наружу в младогегельянцах, и поэтому гегельянство, поскольку оно не переходит прямо, в лице своего правого крыла, в реакционный лагерь, превращается в гонимую философию. Если еще за несколько лет до того большинство кафедр в германских университетах было занято последователями Гегеля, то теперь на гегельянцев обрушивается одна репрессия за другой. Репрессии подвергается не только радикальный Бруно Бауэр, но и умеренно-либеральный Фишер, а для крупнейшего из буржуазных младогегельянцев, для Людвиг Фейербаха, не находится кафедры во всей Германии. Зато старого, духовно мертвого и окончательно погрувившегося в реакцию Шеллинга

новый режим вызывает в Берлин для искоренения «атеистической» идеологии гегельянства, зато он превозносит до небес историческую школу права, Ранке и прочие реакционные идеологические течения. Цензура становится все строже. Важнейшие газеты и журналы прогрессивной буржуазии («Рейнская газета», «Ежегодники» Руге и т. д.) закрываются. Гервега высылают из Пруссии. И все эти мероприятия реакции, готовящейся к последнему отчаянному бою, проводятся под флагом романтического идеализма, вновь приобретшего политическую физиономию. В своем превосходном сатирическом стихотворении «Китайский богдыхан» Гейне дает столь же острую, сколь и глубокую характеристику романтической фантастики Фридриха Вильгельма IV, беспощадно осмеивая этот пустой и напыщенный идеализм прусского короля:

Был трезвой шляпой мой отец,  
Ханжой великопостным.  
А я—хоть пью, да молодец:  
Я стал владыкой грозным.

Волшебное питье! Постиг  
Я это в глубинах духа.  
Мне стоит выпить—и Китаю вмиг  
Несет расцвет сивуха!

Срединная Империя вся  
Цветет, подобно лугу.  
Почти мужчиной делаюсь я  
И ублажаю супругу.

Конец—болезням! Никто и в ус  
Не дует, богатея.  
Мой лейб-мудрец, Конфуциус \*,  
Доходит до апогея.

Сухарь солдатский—здесь и он  
Пирожным становится в ранце.  
Одеты в бархат и в виссон  
Китайские голодранцы.

Все мандарины, что, увы!  
Безмозглы, безволосы,  
По-юношески вновь резвы,  
Отращивают косы.

Великая пагода \*\* — веры оплот —  
Готова. В буддийское лоно  
Последний еврей переходит. И вот —  
Имеет он орден Дракона.

---

\* Шеллинг.

\*\* Кёльнский собор.

Дух революции—сразу исчез,  
Манчжурские просят ребятки:  
«Не надо нам конституционных чудес,—  
Бамбуков мы жаждем в пятки!»

Врачи мне давно твердят: «Не пей,—  
Отрава, мол, эта влага!»  
А я вот—пью, и ей-же-ей,  
Империи на благо.

За чаркой—чарка, и каждая мне —  
Как манна, благоуханна.  
Народ мой счастлив, и даже во сне  
Он мне кричит: «Осанна!» \*

Борьба против политической романтики — основная тема всей эпохи. Все прогрессивные газеты, журналы, брошюры и научные сочинения того времени переполнены откликами на этот поход против возрождаемой романтики. Достаточно прочесть статьи молодого Маркса в «Рейнской газете», особенно замечательную статью против исторической школы права, чтобы оценить огромное политическое и идейное значение этой борьбы для подготовки революции. И когда Маркс, в период дружбы и идеологического союза с Бруно Бауэром,

---

\* Перевод Льва Пеньковского.

пропагандировал «эзотерического» — атеистического и революционного — Гегеля, они посвятили критике романтической теории искусства, романтического взгляда на религиозную сущность искусства особое сочинение. (Для характеристики той эпохи не важно, насколько велико было личное участие Маркса как автора этого сочинения; достаточно знать, что в подготовительных работах к нему он участвовал самым активным образом.) И такую же энергичную борьбу против романтики мы находим во всех писаниях тогдашней радикальной интеллигенции, особенно у всех радикальных младогегельянцев.

Однако эта критика романтики остается у представителей радикальной буржуазной интеллигенции ограниченной и односторонней; они видят в романтике лишь нечто абстрактно-реакционное и не улавливают ее конкретного характера, ее конкретной функции в тогдашних классовых боях. Они совершенно упускают из виду буржуазный характер романтики. Они останавливаются на поверхностных симптомах, на тяге к средним векам. Они не замечают, что этот призыв к возрождению средневековья исходит от определенной группы буржуазии, что это возрождение средневековья ставит себе целью ввести и укрепить реакционный буржуазный режим — правда, под маской дворянства, для ее присвоителей земельной ренты,

но все-таки буржуазный режим. Мелкобуржуазно-радикальные теоретики и публицисты, которые боролись против романтики абстрактно, исходя из идеологических симптомов, а не из классовой основы, оторвали таким образом романтическую идеологию от ее общественной подоплеки и тем самым отрезали себе путь к правильной идеологической борьбе с нею. В результате они неизбежно должны были потерять из виду связь между важнейшими идеологическими моментами всего движения. Если мы сравним полемику молодого Маркса—даже на той стадии его развития, на которой он еще не дошел до материалистической переделки гегелевской диалектики,—с полемикой других теоретиков того времени, то увидим, что у этих последних романтика появляется внезапно на исторической сцене, точно сваливается с неба, тогда как Маркс уже в своей юношеской работе об исторической школе права вскрывает связь между романтикой и буржуазной идеологией XVIII века. Позднее Маркс дал на этой основе мастерскую характеристику Шатобриана, «который отвратительнейшим образом сочетает аристократический скептицизм и вольтерьянство XVIII века с аристократическим сентиментализмом и романтизмом XIX столетия». Неспособность мелкобуржуазно-радикальных критиков романтики увидеть исторические корни роман-

тической идеологии приводит к тому, что как они просмотрели основную буржуазную тенденцию в официальной романтически-политической реакции, точно так же не замечают они и романтических элементов в буржуазно-либеральной идеологии. А между тем как раз эти романтические элементы являются симптомами слабости и отсталости немецкой буржуазии—идеологическими симптомами, в которых уже таятся зародыши ее будущей классовой измены принципам буржуазной революции 1848 года. Односторонняя и изолированная борьба против романтической идеологии реакции, против ее воплощения в немецких князьях, приводит далее к затушевыванию проблем классовой борьбы. Энгельс пишет против мелкобуржуазного радикала Карла Гейнца, что из его борьбы против князей вытекает «не необходимость революции, а благочестивая мечта о хорошем князе, о добром императоре Иосифе». «Г-ну Гейнцу никогда не удастся перенести на князей ту ненависть, которую крепостной крестьянин питает к помещику, рабочий—к работодателю». Правильная, исходящая из классовой основы критика романтики играет таким образом у Маркса и Энгельса важную политическую роль в идеологической подготовке революции 1848 года. Ограниченный радикализм в стиле Гейнца, который за борьбой против романтической реакции

в политике забывает о проблемах классовой борьбы, был в тот период не меньшей политической опасностью, чем противоположная крайность «истинных социалистов», которые в столь же односторонней борьбе против буржуазии упускали из виду политические проблемы буржуазной революции и этим бессознательно поддерживали романтическую реакцию. И, наконец, эта ограниченная однобокость отнимает у мелкобуржуазных критиков романтики всякую возможность самокритики, не позволяет им критически отнестись к романтическим элементам в их собственном мышлении. Маркс пронизательно вскрыл после революции эти романтические элементы у самого радикального из младогегельянцев, у Бруно Бауэра.

Гейне всю свою жизнь был чужд историческому материализму, и поэтому его критика романтики никогда не могла подняться до той высоты, с какой критиковали романтику Маркс и Энгельс. Но его близкое знакомство с классовыми боями во Франции, его сравнительно широкий благодаря этому политический и общественный кругозор, в соединении с богатой и свободной поэтической интуицией, подводят его в критике романтики местами очень близко к Марксу и Энгельсу; во всяком случае, он стоит здесь на более высокой ступени, чем кто бы то ни было другой в Германии того времени, кроме

Маркса и Энгельса. Гейне ясно видит буржуазный характер романтики; он видит, что то средневековье, к возрождению которого якобы стремится романтика, на самом деле лишь фантастическая маска, под которой скрывается мелочно-подлая, отстало-буржуазная немецкая реакция. В тех местах «Германии», которые посвящены легенде о Барбароссе,—об них нам еще придется говорить подробнее—он высказывается на этот счет в язвительно иронической форме с полнейшей политической ясностью:

Священную Римскую восстанови  
Империю, культурный  
Вернув ее хлам, всю гниль, всю труху,  
Весь блеск ее мишурный.

«Средневековье?—Хоть и так!  
Его мы идиотизма  
Снесем еще гнет. Но избавь же нас—  
От гермафродитизма

«Гамашного нашего рыцарства, всей  
Той смеси отвратнейшей, ибо  
Бред готики и современная фальшь —  
Ни мясо и ни рыба.

«Итак, разгони весь актерский сброд,  
Скорей—на замок театр,

Где пародируют старину!..  
Гряди, гряди, император!»

Но эта ясность у Гейне все же остается лишь относительной. В противоположность Марксу и Энгельсу, которые в своем юношеском развитии выросли из последовательных революционных демократов в теоретических основоположников пролетарско-революционного движения и в ходе этого развития преодолели, обосновав диалектический материализм, всякую буржуазную идеологию,—в противоположность им Гейне остановился на точке зрения буржуазной революции. Только отсюда можно понять его двойственное и противоречивое отношение к пролетарской революции. Он сочетает в себе все прогрессивные тенденции буржуазно-революционной идеологии—в последний раз в истории западно-европейской буржуазии. Как такой идеолог, как последний потомок Гете, Гегелей и Сен-Симонов, он часто выходит далеко за пределы буржуазной революции и уже видит зарю грядущего освобождения трудящихся. Но при всем том его основная установка остается общепролетарской, его идеалом остается радикально и всесторонне проведенная буржуазная революция, цветущее и крепкое буржуазное общество. Отсюда его восторженное преклонение перед Наполеоном I. Многогранность

его представления об этой буржуазной революции, его стремление додумать до конца каждую ее тенденцию часто возвышает его над буржуазным кругозором. Так как он жил и действовал позже, в период гораздо более сложной классовой борьбы, чем его духовные предки, то он и понимал гораздо глубже, чем они, ограниченность буржуазного строя и необходимость его преодоления. Но именно поэтому эти выходящие за пределы буржуазного строя тенденции Гейне находятся в гораздо более резком, более непримиримом противоречии с его общими взглядами, чем это было у его великих предшественников. Если он оставляет позади себя сенсимонизм и сравнительно глубоко проникает в сущность нарождающегося рабочего движения, то тут он, конечно, высоко поднимается над точкой зрения Сен-Симона, но одновременно углубляет и обостряет противоречия в своем собственном мышлении. Он действительно ищет, как однажды выразился Маркс, истину «в навозе противоречий». Эти противоречия настолько глубоки и непримиримы, что они даже вызывают у Гейне во время и после революции 1848 года идеологический поворот вспять. Можно при этом сколько угодно сослаться на его смертельную болезнь, на его прозябание в матрацной могиле, — несомненно во всяком случае, что революция 1848 года, и в особенности июньский

бой, навсегда покончили во всемирно-историческом масштабе с типом буржуазно-прогрессивного мышления, последним великим представителем которого был Гейне. С этого момента начинается резкое размежевание. Буржуазные мыслители, неспособные окончательно порвать со своим классом и примкнуть к революционному классу, к пролетариату, перекочевывают, с ббольшими или меньшими идеологическими угрызениями, в лагерь апологетики. Если даже допустить, что матрачная могила сыграла свою роль в повороте Гейне после 1848 года—мы этого не думаем,—то она уж во всяком случае предохранила его от решительного перехода к апологетике; он мог остаться в своем колеблющемся, источенном противоречиями состоянии и умереть последним прогрессивным идеологом буржуазии, певцом ее всемирно-исторической миссии, солдатом на «потерянном посту в освободительной войне».

Этим основным противоречием во всей личности Гейне определяется его отношение к романтике. Гейне в одно и то же время наследник романтики и ее ликвидатор. «Несмотря на мои истребительные походы против романтики,—пишет Гейне после революции 1848 года,—сам я всегда оставался романтиком, и я был им в большей мере, чем я сам думал. Нанеся убийственные удары вкусу к романтической поэзии в Германии,

я вдруг сам ощутил бесконечную грусть по голубому цветку романтической грезы, и я схватил зачарованную лютню и спел песню, в которой упился всеми пленительными чрезмерностями, всеми чарами лунного сияния, всем цветущим соловьиным безумием столь любимых когда-то напевов. Я знаю, это была «последняя вольная лесная песнь романтики», и я ее последний певец; мною заканчивается старая лирическая школа немцев, как мною же началась новая школа, современная немецкая лирика». Эта автохарактеристика весьма удачна. Следует только прибавить, что мы имеем у Гейне не хронологическую, как он сам думал, смену романтики, ее преодоления и возврата к ней, а одновременное, противоречивое, диалектическое сочетание романтических тенденций и тенденций к их окончательному преодолению. Гейне является таким образом в более глубоком смысле, чем он думал сам, наследником и ликвидатором романтики. В одном только пункте Гейне заблуждается в своей автохарактеристике. Он не зачинатель нового расцвета немецкой лирики. Он действительно первый великий лирик революционного подъема германской буржуазии. Но вместе с тем он и последний великий лирик этого исторического периода, периода подъема буржуазно-демократического движения в Германии. Как последний представитель великого типа,

обреченного на гибель со времени революции 1848 года, Гейне уже не мог понять, что новый революционный подъем—и тем самым подъем философии и поэзии—возможен впредь только со стороны пролетарского класса.

Романтика была в Германии еще больше, чем в других странах, протестом против мелочности, против убожества и прованчности современной жизни. Но этот протест был в Германии с самого же начала двуликим: это в такой же мере протест против окостенелости и убожества мелкокняжеского феодального абсолютизма, как и против зарождающегося капиталистического строя. Эта двуликость обнаруживается особенно ясно в начальный период романтики, с его страстной борьбой против тесных рамок тогдашней немецкой жизни и особенно против узости супружеской и половой морали. Лишь позднее происходит дифференциация, и большинство романтиков яростно обрушивается на прогрессивный капитализм и начинает славословить поэзию отсталости, лесную идиллию феодальной Германии. Но у некоторых—особенно у Э. Т. А. Гофмана—ясно виден другой лик романтики, и ряд писателей переходного периода, стремившихся преодолеть реакционные тенденции романтического движения, подчеркивает эту другую сторону все более энергично—в особенности, например, Иммерман, соратник

молодого Гейне. Ясно, что у самого Гейне эта вторая тенденция всегда была преобладающей, но тем не менее, как художник, он унаследовал также и первую тенденцию романтики. Это было возможно потому, что в Гейне с самого начала были сильны бунтарские антикапиталистические тенденции (вспомним разбойничью сцену в его юношеской драме «Ратклифф»). Эта сначала, правда, робкая и путаная антикапиталистическая тенденция позволяет ему—из протеста против механизмирующего гнета капиталистических отношений, против сильно прочувствованных, хотя и не понятых последствий фетишизма,—апеллировать к романтической природе, воспеть ее чарующую прелесть, не впадая, однако, при этом в реакционное тяготение к примитивным ступеням общественной жизни.

Еще глубже сказывается отмеченное противоречие в вопросе о народности, о демократизме романтики. Марко однажды в своей юношеской работе назвал само средневековье «демократией несвободы»: путаное и противоречивое представление о подобной демократии свойственно всем крупным романтическим критикам капитализма от Ленгэ до Карлейля. В Германии эта двойственность была особенно велика. С одной стороны, все более усиливается движение за отмену крепостного права, за преобразование устаревших государственных и военных

учреждений, рушившихся в войнах против революции и Наполеона. Но, с другой стороны, это движение, хотя и находившееся под влиянием французской революции, стремилось вместе с тем к реставрации давно отживших форм, преодоленных в свое время мелкокняжеским феодальным абсолютизмом Германии. Из-за явно реакционных конечных результатов этого движения мы не должны, однако, забывать, что само оно, при всей его двойственности и неясности, было все-таки демократическим движением. Оно было таковым и в идеологической области. Пусть призыв к народному духу, к органическому развитию во всех областях общественной жизни и истории, и особенно в области учения о праве и государстве, привел к самым реакционным последствиям (Савиньи и т. д.),—все же это было вначале стремление обновить науку, поэзию и прежде всего язык с помощью демократических, а подчас даже и плебейских источников. «Des Knabens Wunderhorn» Арнима и Брентано, сборники сказок и лингвистические исследования братьев Гриммов, «Schatzkästlein» Гебеля и т. д. внесли свежую струю в немецкий язык, обогатили его из народно-демократических источников, и хотя это было продолжением движения, начатого еще Гердером, однако теперь оно достигло гораздо большей широты и глубины и явилось вместе с тем оппозицией

против языкового аристократизма немецкой классики. Несмотря на романтически-реакционную идеологию, сопровождавшую его вначале и всецело подчинившую его себе впоследствии, это обновление снизу языка, стихотворной формы, образов и ритма было международно-демократическим движением, вызванным французской революцией; об этом яснее всего свидетельствует тот факт, что подобные же—хотя и сильно видоизмененные национальными условиями—течения мы наблюдаем по всей Европе. Английские классицисты бранят романтика Китса за «обывательские» элементы его языка, а Виктор Гюго, бывший тогда еще реакционером в политике, прославляет в одном стихотворении языковую революцию именно с точки зрения революционного стремления к равенству в языке: «Язык был государством 1789 года. В нем имелись дворяне и простой народ. Одно слово было герцогом и пером Франции, другое—жалким бедняком... Слова были рассованы по ящикам... Я натянул на старый словарь красный колпак и воскликнул: нет больше слов-сенаторов, нет слов-мещан... Не существует слова, к которому идея, еще свежая и влажная от небесной лавури, не могла бы прильнуть в своем чистом полете». Впрочем, после работ Поля Лафарга мы знаем, что общественной подоплекой этого обновления языка было проникнове-

ние народной речи в литературу в годы Великой революции.

Благодаря отсталости германского капитализма это движение носило в Германии гораздо более «сельский» характер, чем во Франции и Англии; у многих немецких поэтов и исследователей оно приобретает даже тон романтической полемики против всего городского и буржуазного, против языкового содержания и языковой формы зарождающегося капитализма. Но и тут не следует забывать о двуликости романтического движения. Вражда ко всему городскому направлена, с одной стороны, против затхлости и убожества отсталой германской жизни, против просвещенного мещанства в выродившемся феодальном абсолютизме (борьба против Николаи). Но вместе с тем нельзя упускать из виду, что романтика с самого же начала содержала в себе—особенно у Фридриха Шлегеля и Тика—сильно выраженные городские элементы и что выступивший позднее Э. Т. А. Гофман был первым крупным городским поэтом Германии, вышедшим из духа романтики.

Гейне воспринял это движение за реформу языка и поэзии во всей его широте и глубине. В своей критике романтики он видит яснее, чем все другие ее противники, что романтическое движение стремилось вначале вобрать в себя и поэтически претворить все живые

элементы эпохи, но что оно потерпело крушение в своем замысле, потому что отшатнулось от своих собственных выводов, потому что подошло к ним с реакционной меркой. Вот что он пишет, например, о крупнейшем теоретике ранней романтики, о Фридрихе Шлегеле: «Он постигнул все великолепия прошлого и ощущал все муки настоящего. Но он не понял святости этих мук и их необходимости для грядущего спасения мира... Бедный Фридрих Шлегель, в муках нашего времени он увидел не муки рождения, а агонию смерти, он не почувствовал, почему разодралась завеса в храме, заколебалась земля и раскололись скалы, и в смертельном испуге он бежал под сень выбких руин католической церкви».

Глубочайшим противоречием, в котором сконцентрировались все противоречия романтики, было проникнуто освободительное движение против Наполеона I. Это было революционное движение, поскольку оно впервые со времен крестьянской войны поднимало Германию на всемирную борьбу за национальное единство и независимость, одну из главнейших целей всякой буржуазной революции, и поскольку оно поневоле должно было при этом начертать на своем знамени, хотя в сбивчивой и неясной форме, уничтожение феодальных пережитков в Германии (отмену крепостного права и т. д.). Но,

с другой стороны, это было и реакционное движение, ибо оно вошло органической составной частью в ту борьбу, которую вели протагонисты европейской реакции, Россия и Англия, против Наполеона I, наследника и душеприказчика Великой французской революции. Маркс говорит обо всех этих движениях: «Все войны за независимость, которые велись против Франции, носят на себе общую печать возрождения, сочетающегося с реакцией». Из-за позднейшего, все более ярко реакционного характера этого движения нельзя забывать о его первоначальной двуликости. Тем более, что все последующие буржуазно-революционные движения за создание национального единства неизбежно должны были обращаться к этим истокам романтической идеологии. Они должны были искать свои прообразы и свой пафос в прошлом, противопоставлять настоящему унижению Германии ее старое, средневековое величие. Именно в этом пункте романтическое движение капиталистически отсталых стран отличается очень резко от судеб романтического движения в передовых странах. Эти последние находили в своем прошлом великие прогрессивные моменты. В особенности французская романтика перешла очень быстро от натянутого и искусственного прославления легитимной монархии и ее средневековых традиций к более прогрессивной тематике, глав-

ным образом к прославлению великой революции и Наполеона I (ср. в особенности эволюцию Виктора Гюго). В Германии же, как и в других отсталых странах, романтика оставалась прикованной к средним векам. На этой почве возникла национальная легенда об императоре Барбароссе, о том, что он вовсе не умер, а лишь спит со своим войском в Кифгейзере, но что в урочный час он проснется, освободит Германию и учинит страшную расправу над врагами германской свободы. Ясно, что жизненность и поэтическая обработка подобных легенд имеет весьма определенное политическое содержание. Они отражают не только неясность освободительного движения в Германии, но прежде всего неспособность германской буржуазии покончить решительным революционным ударом с пережитками феодального абсолютизма.

Гейне с самого начала относится к этим тенденциям критически. Как уроженец рейнской провинции, он лично пережил и всегда восторженно приветствовал те перемены, которые принесла с собой оккупация этой провинции наполеоновскими войсками. Его очень ранний культ Наполеона («Два гренадера») не является таким образом импортным продуктом, перенесением в Германию французских революционных традиций; он самостоятельно возник на германской почве. Но, как выразитель «общеграждан-

ских» революционных тенденций в Германии, Гейне не может бороться против романтического национализма так же прямолинейно и решительно, как боролись против него пролетарские революционеры Маркс и Энгельс, оставившие далеко позади себя все романтические тенденции. Гейне жестоко бичует всякий ограниченный, реакционный антифранцузский национализм в Германии. Он подлинный предшественник «галлогерманского принципа» Фейербаха и молодого Маркса. Но романтическая идеология все-таки преодолевается им лишь имманентно. Он разрушает романтическую национальную легенду изнутри, а не относится к ней, как к чему-то абсолютно чуждому и враждебному. То, что он умеет передать в своих стихах все романтическое очарование этой легенды, показывает, как глубоко он связан с нею эмоционально, а язвительная ирония, с какой он всякий раз тут же разрушает ее, свидетельствует лишь о той неотделимости и внутренней переплетенности этих противоречивых моментов, в которой мы усмотрели выше основную черту его характера. Ирония Гейне есть всегда ирония и над самим собой.

Поэтическая критика легенды о Барбароссе, романтического идеала обновленной Германии, составляет основное ядро и кульминационный пункт поэмы «Германия». Гейне сознательно начинает здесь со старых немецких сказок для

детей и переходит затем к спящему Барбароссе и его войску. И он описывает будущее освобождение Германии мечом Барбароссы с чисто романтическим пафосом:

И схватит славное знамя свое,  
И крикнет: «По ко́ням, братцы!»  
И вскочат, оружием гремя, молодцы,  
И гаркнут: «Рады стараться!»

И—на коней. А кони ржут,  
Копытами землю роя.  
И трубы вьзывают, и в шумный мир  
Летят в карьер герои.

Лихи в седле, лихи в бою,  
А выпались на славу!  
Решил император учинить  
Убийцам суд и расправу—

Убийцам девы дорогой  
С лучистыми глазами,  
Золотокудрой—Германии...  
«Солнце, ты мстящее пламя!»

И всем, кто беспечно в рамках своих  
К совести кончил запросы,  
Им петлю возмездия вяжет рука  
Разгневанного Барбароссы.

Как нянины сказки чудесно звучат!  
И гулками колоколами  
Гудит суеверное сердце мое:  
«Солнце, ты мстящее пламя!»

В дальнейшем подробном описании Барбароссы, его войска и его арсенала разрушающая легенду ирония проступает все сильнее и решительнее. Она достигает своей вершины в большом разговоре с императором Барбароссой: император осведомляется о последних событиях, и Гейне весьма характерным образом рассказывает ему о французской революции и о казни Людовика XVI и Марии-Антуанетты, от чего добрый Барбаросса приходит, разумеется, в величайшее негодование и отчитывает наглого пришельца, как государственного изменника и крамольника. На это Гейне отвечает:

Когда захлебнувшийся в гнев старик,  
Мои преступленья числа,  
Вот так разошелся,—то тут прорвало  
И мои сокровенные мысли:

«Негг Ротбарт! Ты—лишь персонаж  
Предания, не боле.  
Ступай же спать. Мы и без тебя  
Своей добьемся воли.

«Ведь республиканцы, узнав, что наш вождь,—  
Призрак, с такой бородищей,  
В короне, со скипетром,—сделают нас  
Острот жестоких пищей.

Да мне надоело и знамя твое;  
Старогерманские дурни не сгибли,  
Но охоту они и в студенчестве мне  
К черно-красно-золотому отшибли.

«А лучше всего—сиди себе тут  
В Кифгейзере этом старом.  
По совести, ведь, императоры нам  
Теперь не нужны и даром.

Но в предисловии к «Германии» Гейне заявляет, что он отнюдь не думал нападать на черно-красно-золотое знамя буржуазного возрождения Германии. Если он осмеивает Барбароссу, студенческую романтику, реакционный национализм, то лишь во имя прогресса, взятого вообще: против романтического призрака он выдвигает революционизированное черно-красно-золотое знамя, а не красное знамя пролетарской революции. «Наше сердце защищено броней от нареканий этих доблестных лакеев в черно-красно-золотых ливреях. Я уже слышу их пивные голоса: «Ты оскорбляешь даже наши цвета, хулишь отечества, друг французов, ты хочешь

им уступить наш вольный Рейн!» Успокойтесь. Я буду уважать и чтить ваши цвета, когда они заслужат этого, когда они перестанут быть досужей или холопской забавой. Водрузите черно-красно-золотое знамя на вершинах немецкой мысли, сделайте его штандартом свободного человечества, и я пролью за него лучшую кровь моего сердца».

Боевая тенденция эпизода с Барбароссой определяет собою всю поэму. Гейне строит ее строже, чем большинство других своих произведений, хотя это и очень вольная, музыкальная строгость. Легкие, высокомерно-иронические уколы, убийственно смешные изображения немецкой жизни чередуются с патетически-энергичными нападками на главнейшие стороны немецкого рабства. Но через все проходит основной поэтический мотив: приятие романтического обаяния старины, со всеми чарами лунного сияния и соловьиной истомы, и тут же беспощадно острое вскрытие реального содержания этой старины, реального рабства Германии. Так тянется это поэтическое путешествие от границы через Кёльн, где высится торс собора, который должен был стать «бастилией духа», через Тевтобургский лес, где «немецкая нация победила среди такого навоза», до Гамбурга, в котором протекла юность Гейне. Здесь, в эпизоде с богиней города Гамбурга Гаммонией,

ироническое разрушение романтики достигает своего чудовищного апогея. Гейне сидит и пьет с богиней, и когда «ром уже ударил ей в голову», она открывает ему свою великую тайну о наследстве, оставленном ей ее предком Карлом Великим.

«В Аахене—трон, на котором он  
Восседа́л при коронаваньи.  
Ночной же трон мамаше моей  
Отписал он в свсем завещаньи.

.....  
«Но если приподнимешь ты  
Подушку ту и если  
Заглянешь в круглую дыру,—  
Котел увидишь в кресле.

«Волшебный это котел. Кипит  
В нем сил магических каша.  
Ткнись только в эту дыру головой,—  
Увидишь грядущее наше.

«Германскую будущность ты узришь  
Сквозь хаос фантазмагорий,  
Но не робей, когда из котла  
Пойдут миазмы вскоре!»

.....  
Что видел я,—молчок о том.  
Ведь я присягал. Но все же

В двух-трех словах могу сказать,  
Чего я нанюхался... Боже!

.....  
А вонь, что вслед за тем пошла...  
Нет запахов с этим схожих.  
Казалось, чистят тридцать шесть \*  
Отечественных отхожих!

.....

Вполне естественно, что «Германия» продолжает и в композиционном отношении линию прозаических произведений Гейне: это тоже ряд путевых картинок. Не случайно Гейне то и дело возвращался к этой форме, не случайно именно в ней мог он с наибольшим совершенством выразить свое мировоззрение, тогда как его опыты в эпической или драматической форме всегда бывали неудачны или оставались фрагментами. Этот общеизвестный факт объясняется обыкновенно в историях литературы «лирическим складом» личности Гейне—объяснение приблизительно столь же глубокомысленное, как изречение дяди Брезига у Фрица Рейтера: «Бедность происходит от раувретé». «Лирический склад» Гейне сам происходит из его исторического положения в классовой борьбе, из тех

---

\* Германия состояла тогда из 36 государств.

противоречий, которые неизбежно заключались в общеграждански-революционной точке зрения Гейне и которых он не мог разрешить. Но не менее важную роль в генезисе гейневского «лиризма» сыграл и тот конкретный вид, который приняла у Гейне эта неразрешенность противоречий, то обстоятельство, что он пытался—и в этом состояло его величие, как поэта и борца,—довести до конца эти противоречия, не примирая их и не заботясь о том, что этим будет безнадежно разрушено единство его мировоззрения, последовательность его позиции. Великие представители общенационально-революционной точки зрения, жившие до него, в эпохи менее развитой классовой борьбы между буржуазией и пролетариатом, могли еще, именно благодаря этой неразвитости классовых боев и ее идеологическим последствиям, выражать свое мировоззрение в больших, объективных эпических или драматических образах. Противоречия сказывались, конечно, и тут. Но они все-таки не уничтожали самую возможность такого творчества. В тот же период, в который жил Гейне, оно уже было невозможно: противоречия разрушили бы всякое объективное построение. Крупные поэты среди старших и младших современников Гейне могли творить в области эпоса и драмы только потому, что эти противоречия достигли у них гораздо менее высоко-

го идейного уровня, чем у Гейне,—в силу ли их провинциальной ограниченности, или благодаря компромиссам, или вследствие перехода на сторону реакции. Значит, не из своей личной, а из исторической нужды своего времени сделал Гейне добродетель, когда, отказавшись от тщетных опытов в области большого романа или драмы, он остановился на форме «путевых очерков», небрежно связанных между собой лирически-иронических циклов в стихах или прозе. Ибо это был единственный способ художественно оформить наличность неразрешимых противоречий так, чтобы ни один из противоречащих друг другу моментов не был при этом апологетически ослаблен.

Эта форма была тоже наследием романтики. Но в самой романтике она все больше вырождается по мере перехода романтиков на сторону реакции то в пустую фривольную игру, то в апологетическое смирение перед полярными противоположностями, как перед какими-то мистическими последними сущностями. У Гейне же ироническое разрушение унаследованных форм не включает в себе—по крайней мере в своей основной тенденции, по крайней мере на действительных вершинах его творчества—ничего фривольного и игривого. Во всяком случае по существу его творчество серьезно. Игривая форма нужна ему лишь для того, чтобы

метко и с точки зрения его класса верно изобразить ничтожество или уже совершившееся уничтожение данного содержания. И ирония Гейне становится лишь глубже и характернее для его своеобразной позиции оттого, что в ней вместе с тем выражается то глубокая печаль, то сентиментальная грусть по поводу неизбежной гибели, неумолимо-рокового уничтожения этих содержаний. «Лирический» склад личности Гейне, игриво беспорядочная на первый взгляд форма его произведений, являются таким образом адекватным выражением его классовой ситуации.

Правда, из всего вышесказанного должно быть ясно, что в этой классовой ситуации таится глубокое противоречие, налагающее свою печать на всю личность Гейне. Гейне, с одной стороны,— один из популярнейших и влиятельнейших поэтов и публицистов своего времени не только в германском, но и в международном масштабе. Но, с другой стороны, при всей прозрачной легкости его стиля, при абсолютной понятности каждой написанной им фразы, он один из самых непонятых и одиноких людей своей эпохи. И это неудивительно. Всестороннее и всеобъемлющее содержание его писаний должно было вызывать в самых различных слоях общества хоть и неодинаковый, но всегда живой отклик; и не только в самых различных слоях буржуазии, но и в кругах готовившегося тогда к первому

большому классовому столкновению пролетариата, у его идеологически руководящей верхушки. Но ни в тогдашней Германии, ни во Франции не было такого общественного слоя и даже такой группы идеологов, которая могла бы воспринять *всего* Гейне как своего поэта. Эта изолированность при повсеместной и громкой популярности должна была, конечно, отразиться на Гейне и сообщить его одинокой позиции выражение игривой иронии над самим собой. В гамбургском эпизоде «Германии» Гейне описывает встречу со своей матерью—диалог из рискованных вопросов и любезных, иронически-уклончивых ответов. Этот диалог заканчивается следующим характерным признанием:

«Дитя мое! А как теперь  
Настроен ты? Все ли ты занят  
Политикой? В какую тебя  
Партию нынче тянет?»

«Ах, апельсины, мамашенька,  
Чудесны! От них я в восторге.  
Я высосал их сладкий сок  
И, как видишь, оставил корки.»

Эта свобода Гейне от различных партий и течений в Германии имеет две стороны, весьма различные по своему достоинству. С одной

стороны, Гейне—отважнейший борец за революционное сокрушение старых идеологий, причем он одновременно ведет самую ожесточенную борьбу против узколобой ограниченности всех мелкобуржуазных радикалов, за полное сохранение великого идеологического наследия, которое те были готовы легкомысленно втоптать в грязь (Берне о Гете и Гегеле). Но, с другой стороны, изолированность Гейне располагала его к слишком «макиавеллистической» неразборчивости в деле обеспечения себя средствами материального и духовного существования; и тут он и в личной жизни, и в литературе не раз делал шаги, глубоко недостойные всемирно-исторического деятеля его ранга (переговоры с Пруссией, субсидия от июльской монархии, связи с Ротшильдом и т. д.). Маркс и Энгельс, вполне признававшие значение Гейне и всячески поддерживавшие его борьбу не только против реакционной романтики, но и против ограниченномелкобуржуазного радикализма, видели в то же время очень зорко эту фривольную сторону его натуры. Вот что пишет, например, Энгельс в одном письме к Марксу: «Старый Гораций напоминает мне местами Гейне, который очень многое перенял у него и в политических вопросах был в сущности такой же подлый пес. Представь себе только этого добряка, который твердит, что не дрогнет перед «лицом грозного тирана»,

а сам лижет зад Августу. Вообще же этот старый пакостник тоже ведь очень мил».

Эту черту в характере Гейне мы не должны прикрывать или прикрашивать. Нельзя также просто отослать ее в область «постигающей психологии», как маленькую личную слабость великого человека. Нет, мы должны понять и полную оправданность резких отзывов Маркса и Энгельса и то, что здесь перед нами не случайное явление, а необходимое следствие исторического положения Гейне. Но именно поэтому оно неравномерно связано с его великой исторической ролью. Если кто-нибудь заслуживает здесь сурового осуждения, то лишь немецкая буржуазия, которая обрекла своего последнего великого поэта на подобное существование. И неравномерная связанность этой черты Гейне с чертами его подлинного исторического величия сказывается между прочим в том, что эти его «пакости» при большом масштабе его деятельности служили ему только средством обеспечить себе необходимую свободу высказывания своих мыслей. Выход из этой дилеммы мог бы для него заключаться только в действительном разрыве со своим классом, в действительном присоединении к пролетариату. Но на это Гейне не решился. Он умер все-таки последним революционным поэтом буржуазной демократии. И не подлежит сомнению, что Гейне в общем сам

огдавал себе в этом ясный отчет, какие бы измышления он ни распространял по поводу этих своих личных дел. В «Германии» он описывает, как ночью в пути его окружают волки, перед которыми он должен доказать революционную чистоту своего поведения. Свою оправдательную речь он заканчивает такими словами:

«Овечий тулуп, надеваемый мной,  
Чтоб от стужи себя уберечь им,  
Поверьте, никак не заставит меня  
Мечтать о счастье овечьем.

«Я не овца, не пес, не треска,  
Не гофрат и не прочая сволочь я,—  
Все тот же я волк! Волчьи зубы мои,  
И душа моя—тоже волчья!

«Я—волк, с волками буду выть.  
Считайте с полным правом,  
Что ваш я. Не плошайте вы,  
И бог пошлет добра вам».

*Георг Лукач*





**ГЕНРИХ ГЕЙНЕ**

**Г Е Р М А Н И Я**





## ПРЕДИСЛОВИЕ

Эту поэму я написал в январе месяце нынешнего года в Париже, и вольный воздух этого города повеял в некоторых строфах много резче чем мне, собственно, хотелось. Я не преминул тут же смягчить и выбросить то, что, казалось, не выживет в германском климате. Тем не менее, когда я в марте месяце послал рукопись

моему издателю в Гамбург, мне было предложено обдумать и некоторые другие сомнительные места. Я должен был еще раз заняться неприятным делом переработки, и тут легко могло случиться, что серьезные тона были смягчены больше, чем нужно, или были заглушены слишком веселым звоном бубенцов юмора. В дурном настроении и в спешке я снова сорвал фиговые листочки с некоторых обнаженных мыслей и, может быть, оскорбил чопорно-манерные уши. Мне очень жаль, но я утешаю себя сознанием того, что более крупные авторы были повинны в подобных же проступках. Я не стану в свое оправдание ссылаться на Аристофана: он был темным язычником, его публика в Афинах, хотя и получила классическое образование, мало что знала о христианской морали. Скорее уже я мог бы сослаться на Сервантеса и Мольера: первый писал для высокой знати обеих Кастилий, а второй для великого короля и великого версальского двора! Ах, я забыл, что мы живем в очень буржуазное время, и я, к сожалению, предвижу, что многие барышни образованных

сословий на берегах Шпрее, а то и на берегах Альстера, сморщат свои более или менее горбатенькие носики над моей бедной позмой. Но что я, однако, предвижу с еще большим прискорбием, это «караул» тех фарисеев [немецкой] национальности, которые шествуют сейчас рука об руку с антипатиями правительства, пользуются полной любовью и уважением цензуры и могут задавать тон в газетах, когда нужно напасть на их противников, являющихся одновременно противниками их титулованных господ. Наше сердце защищено броней от нареканий этих доблестных лакеев в черно-красно-золотых ливреях. Я уже слышу их пивные голоса: «Ты оскорбляешь даже наши цвета, хулитель отечества, друг французов, ты хочешь им уступить наш вольный Рейн!» Успокойтесь. Я буду уважать и чтить ваши цвета, когда они заслужат этого, когда они перестанут быть досужей или холопской забавой. Водрузите черно-красно-золотое знамя на вершинах германской мысли, сделайте его штандартом свободного человечества, и я пролью за него лучшую кровь своего

сердца. Успокойтесь, я люблю отечество столь же горячо, как и вы. Из-за этой любви я прожил тринадцать лет в изгнании, из-за этой же любви я снова возвращаюсь в изгнание, может быть, навсегда, но, во всяком случае, не хныча и не корча криворотых гримас мученика. Я друг французов так же, как я друг всех людей, когда они разумны и добры, и так как сам я не настолько глуп и плох, чтобы желать моим немцам и французам,—двум этим избранным народам человечества—сломать себе шеи на благо Англии и России и к злорадству юнкеров и попов всего земного шара. Будьте покойны, я никогда не уступлю французам Рейна, хотя бы по той простой причине, что Рейн принадлежит мне. Да, он принадлежит мне по неотчуждаемому праву рождения, я—[так называемого] вольного Рейна еще гораздо более вольный сын, на его берегу стояла моя колыбель, и я никак не могу понять, почему Рейн должен принадлежать кому бы то ни было, кроме детей его. *[Нужно прежде всего вырвать его из прусских когтей; совершив это неотложное дело, мы выберем путем всеоб-*

*щего голосования, какого-нибудь честного дядю, обладающего необходимым досугом для управления честным и трудолюбивым народом.]* Эльзас и Лотарингию, правда, мне бы не так легко было включить в германское государство, как это делаете вы, ибо население этих областей крепко держится за Францию из-за прав, которые оно приобрело благодаря французскому государственному перевороту, из-за тех законов равенства и свободных установлений, которые так приятны буржуазной душе, но оставляют, однако, многого еще желать желудку масс. Впрочем, эльзасцы и лотарингцы снова присоединятся к Германии, когда мы завершим то, что начали французы [*великое дело революции: всеобщую демократию*], когда мы превзойдем их на деле, как мы это уже сделали в области мысли, когда мы поднимемся до последних ее выводов, когда мы уничтожим угодливость, вплоть до ее последнего прибежища—небес,—когда бога, живущего на земле в человеке, мы спасем из его унижения; когда мы станем избавителями бога [*когда мы сотрем нужду с лица всей земли*], когда мы снова

восстановим в достоинстве бедный обездоленный народ и поруганный гений, и растленную красоту, как говорили и пели наши великие учителя [*мыслители и поэты*] и как хотим мы, их ученики. Да, не только Эльзас и Лотарингия, но и вся Франция достанется тогда нам; вся Европа, весь мир станет немецким! Об этой миссии и об этом всеобщем господстве Германии я часто мечтаю, бродя под дубами. Таков *мой* патриотизм.

В одной из ближайших книг я еще вернусь к этой теме—с крайней решимостью, с суровой беспощадностью, но с безусловной лояльностью. Я сумею отнестись с уважением к самым решительным возражениям, если они будут исходить из убеждений. Я терпеливо прошу тогда даже самую грубую враждебность; я буду отвечать даже на глупость, лишь бы она была сказана честно. Зато все свое молчаливое презрение обращаю я на беспринципную тварь, которая из жалкой зависти или нечистоплотной личной язвительности будет стремиться унижить мое доброе имя в общественном мнении, пользуясь

для этого личиной патриотизма, а то и религии или морали. Анархическое состояние мира германской политической и литературной прессы нередко использовалось в этом смысле с таким талантом, что я мог ему только удивляться. Поистине, Шуфтерле еще не умер, он жив и уже много лет стоит во главе отлично организованной банды литературных разбойников, снискивающих себе пропитание в богемских лесах нашей газетной прессы, прячась за каждым кустом, за каждым листком и повинуюсь самому тихому свисту своего достойного атамана.

Еще одно слово. «Зимняя сказка» включает собою «Новые стихотворения», выходящие в настоящий момент у Гофмана и Кампе. Чтобы обеспечить выпуск поэмы отдельной книгой, мой издатель вынужден был препоручить ее особому попечению бдящих властей, и новые варианты и пропуски—результат этой высшей критики.

Гамбург, 17 сентября 1844 г.

*Генрих Гейне*





## ПРОЩАНИЕ С ПАРИЖЕМ

Прощай, Париж, мой дорогой!  
Мы расстаемся. Ты же—  
Кипишь весельем, через край  
Восторгом, счастьем брызжа.

Немецкое сердце мое гнетет  
Какая-то истома.  
Единственный врач тут может помочь,  
Но он на севере, дома.

Меня он быстро исцелит  
Все хвалят его усердно,—  
Однако от грубых его микстур  
Мне наперед уже скверно.

Прощай, ты светлый французский народ,  
Вы, мои веселые братья!  
Чудная тоска меня гонит вдаль,  
Но скоро приеду опять я.

Представьте, мучительно тянет меня  
К запаху торфа, в степи;  
Меня к люнебургским овцам влечет,  
К капусте кислой, к репе;

К табачному дыму, к ночным сторожам,  
К гофратским сановным фигурам,  
К ржаному хлебу, к грубости и—  
К поповнам белокурым.

По матери тоже соскучился я,  
Признаюсь в этом прямо:  
Тринадцать лет я не видал  
Мою старушку-маму.

Прощай, красавица жена!  
Тебе не понять этой муки:  
Я так горячо обнимаю тебя,  
И жажду сам разлуки.

Жестокая жажда! От счастья с тобой  
Меня она гонит на время:  
Немецкий воздух нужен мне,  
Иль задохнусь совсем я.

Ах, эта пытка, эта тоска —  
До судорог! Прах немецкий  
Уже предвкушая, ноги мои  
Дрыгают в радости детской.

До нового года вернусь к тебе  
Из Германии, к тому же —  
Здоровым, надеюсь. К празднику жди  
Гостинчиков от мужа.



## ГЛАВА I

Унылый месяц ноябрь стоял,  
Погода—все капризней,  
Ветер срывал с деревьев листву.  
Я был на пути к отчизне.

И лишь границы я достиг,  
Сильнейшее сердцебиенье  
Я испытал; могу допустить,  
Что и всплакнул от волненья.

Когда же я речи немецкой внял,  
Что стало со мной,—непонятно!  
Я думал, что лопнет сердце мое,  
Так было мне приятно.

Арфистка-крошка пела там  
С очень теплым чувством,  
Хоть и фальшиво. Но как я был  
Растроган ее искусством!

Была ее песнь—о муках любви,  
О жертвенности, о встречах  
В том, высшем, лучшем мире, где нет  
Страданий человеческих.

Она о юдоли пела земной,  
О радостях быстротекущих,  
О мире потустороннем, где дух  
Блаженствует в райских кущах.

Песнь отречения, старая песнь,  
Небесное люшеньки-люли.  
Народам-пѣнтюхам ее  
Поют, чтоб не скулили.

Я знаю мотивчик, я знаю текст  
И авторов знаю породу:  
Они келейно пьют вино,  
Проповедуя гласно воду.

Я новую песнь, я лучшую песнь  
Спою вам за дружеской чашей:  
Мы царство небесное создадим  
Здесь, на земле, на нашей!

Мы счастья хотим здесь, на земле,  
Не знать нужды в краюхе.  
Плодов работающих рук—да не жрет  
Бездельник толстобрюхий!

Тут вдосталь хлеба всем растет,  
Цветов, плодов хороших,  
В избытке воздух, красота  
И даже сладкий горошек.

Да, сладким горошком—лишь лопнут стручки—  
Лакомься каждый смело!  
А небо—ангелам и воробьям  
Мы предоставим всецело.

А вырастут крылья по смерти у нас,  
Мы ваш разыщем хор там  
И там уже должное воздадим  
Воздушнейшим вашим тортам.

Новая песнь, лучшая песнь!  
Звучат в ней скрипки и флейты.  
Долой «misereere»! И в колокола  
Трезвонить уже не смей ты.

С девою Европой обручен  
Прекрасный, весь совершенство—  
Гений Свободы. Впервые они  
Вкушают лобанья блаженство.

И пусть их брак совершен без попа,  
Ничуть не унижен он этим.  
Виват жениху, невесте виват!  
И будущим их детям!

Вот новая песнь, лучшая песнь—  
Песнь брачного восхваленья!  
В душе созвездия взошли  
Высшего откровенья.

Созвездия духа! Ручьями огней  
Как хлещут они и бушуют!  
Чудесную силу я ощутил,—  
Дубы такой корчуют.

Лишь я на немецкую почву ступил,  
Волшебных я соков полон:  
Коснулся матери титан,  
И вновь свою мощь обрел он.



## ГЛАВА II

Покуда крошка, на арфе брэнча,  
О небе пускала трели,  
Чины таможни прусской уже  
Сундук мой осмотрели.

Обнюхали все, копались в платках,  
В сорочках, ночных и крахмальных;  
Искали кружев и ценностей в них,  
А также книг нелегальных.

Дубины! Вам ничего не найти,  
Сто раз мой сундук ревизуя.  
Всю контрабанду, что у меня,  
Не здесь,—в голове везу я.

Там кружева—не малинским чета  
И даже брюссельских лучше.  
Но стоит их вынуть, и вам они  
Крапивой покажутся жгучей.

Ношу бриллианты я в голове—  
Грядущему для диадемы,  
Для храма нового божества  
Невиданные эмблемы.

А сколько я книг в голове ношу!  
Могу вас уверить, ярыжек,—  
В ней—словно в птичьем гнезде—шумит  
От нелегальных книжек.

Такой библиотекой сам сатана  
Похвастать мог вполне бы:  
В ней книги—опасней тех, что писал  
Гофман фон Фаллерслебен...

Тут—рядом стоявший со мной пассажир  
Открыл мне, с важной миной,  
Что прусский великий предо мной  
Союз таможен единый.

«Союз таможен,—заметил он,—  
Фундаментом нации ляжет;  
Он—раздроблённую родину  
В единое целое свяжет.

«Нас внешним единством свяжет он,  
Так сказать, материальным.  
Духовным единством—цензура нас  
Обеспечивает идеальным.

«Единство внутреннее в ней,  
Единство мысли и воли;  
Единой должна Германия стать  
Во вне, а внутри—тем боле!»



### ГЛАВА III

В Аахене в древнем соборе лежит  
Karolus Magnus. (Однако,—  
Не путайте с Карлом Майером: тот  
Здравствует, швабский писака).

Покоиться, как император, я  
Не жажду в соборе этом;  
Мне б—в Штуккертe лучше—малюсеньким быть,  
Но только живым поэтом.

На аахенских улицах чахнут с тоски  
Даже собаки, канюча:  
«Пинка бы, пришелец, ты дал нам, и то—  
Просвет в этой скуке сучьей».

Я в этом скучном гнезде с часок  
Валандался, слава богу.  
Военных прусских видел вновь,—  
В них перемен не много.

Все та же серая шинель  
И ворот высокий, алый.  
(Но алое—значит французская кровь,  
Как Кернер пел, бывало).

Все тот же дубовый, педантский народ,  
Прямых углов неизменность  
В малейшем движеньи, а на лице—  
Застывшая надменность.

Все так же они на ходулях-ногах  
Шагают, как и шагали,  
Как будто проглотили трость,  
Которой их муштровали.

Да, фухтель не совсем погиб,  
В нутро их заключенный,  
И вечно будет в дружеском «ты»  
Слышаться «он» исконный.

Усы их длинные—старой косы  
Новейший фазис; но косам  
Не вечно на спине висеть,—  
Теперь и висят под носом.

Но конницы новая форма пришла  
По вкусу мне,—игрушка!  
Особенно—эта каска их, шлем  
С блестящей стальной верхушкой.

Все это так рыцарственно, что в душе  
Невольно проснется романтик:  
Воскреснет графиня фон Монфокон,  
Барон Фукè, Уланд, Тик.

Все средневековые припомнишь: пажей,  
Оруженосцев и присных,  
В сердцах носивших верность, а герб—  
На задницах живописных;

Крестовые войны, турниров блеск,  
И богу и даме обеты,  
И те беспечатные времена,  
Когда и не снились газеты.

Да, да, мне нравится этот шлем—  
В нем высочайший толк есть  
И остроумие. Не без «pointe»  
Монаршая эта колкость!

Но я боюсь, что этот шпиц,  
Когда гроза вдруг грянет,  
Молнию с современных небес  
К голове романтической притянет.

И в случае войны—нужна  
Куда полегче фуражка:  
Тяжел средневековый шлем,  
И удирать в нем тяжко...

На вывеске почтовой там  
Я вновь увидел птицу  
Прененавистную. Глядит—  
Яд из очей струится.

У, гнусная птица! Попадись  
Когда-нибудь мне в руки,—  
Все перья выщиплю, отрублю  
Я когти тебе, подлюке.

Ты будешь у меня сидеть  
На жерди высоченной,  
И рейнских стрелков я приглашу  
Стрельбой развлечься мишенной.

И удалцу, что тебя подшибет,  
Пожалую я за это  
Корону и скипетр. Мы туш затрубим  
И грянем: «Король, многи лета!»



#### ГЛАВА IV

Поздненько под вечер прибыл я в Кёльн  
И Рейна услышал журчанье,  
И воздух немецкий обвеял меня,  
И я его влиянье—

На аппетите испытал.  
Я съел в заведении питейном  
Омлет с ветчиной, он солон был,—  
Пришлось запить рейнвейном.

Как золото, и поныне рейнвейн  
Сквозь зелень стекла играет,  
Но несколько лишних кружек хлебни,—  
Он сразу в нос ударяет.

Так сладко пощипывает в носу,  
Такое блаженство—нет мочи!  
И в гулкие улицы ринулся я,  
В густеющий сумрак ночи.

Казалось, что каждый каменный дом  
Хотел мне поведать отдельно  
Предания канувших в вечность времен  
Священного града Кёльна.

Да, был сетями ханжества  
Сей город поповский опутан.  
Тут «темные люди» царили. Их  
Клеймил еще Ульрих фон Гуттен.

Плясали тут средневековья канкан  
Монахини и рясоносцы,  
Тут кёльнский Менцель—Гохстратен—строчил  
Ехиднейшие доносцы.

Сожрало пламя священных костров  
Книг, и людей тут не мало;  
Трезвонили колокола, и толпа  
«Кирие элейсон» внимала.

Тупость и злоба на улицах тут  
Справляли собачьи свадьбы;  
По лютости к вере чужой—и сейчас  
Их выводней можно узнать бы.

Но что там! Озарен луной  
Верзила торчит перед взором.  
Так дьявольски-черен, так высок!—  
Пред Кёльнским я собором.

Бастилией духа он должен был стать,  
Вот смысл интриги латинской:  
«Немецкий разум тут вконец,  
Зачахнет, в тюрьме исполицкой!»

Но историческое «стоп!»  
Тут Лютер крикнул стойко.  
И не закончена с тех пор  
Соборная постройка.

Собор не достроен—и хорошо!  
Ведь незавершенность эта,  
Как памятник мощи немецкой, стоит  
И протестантства завета.

Вы, жалкие шельмы, Соборный союз!  
Все снится вам нелепость,  
Что вы слабосильные, завершить  
Сумеете древнюю крепость.

Безумнейший план! Вы звякать вольны  
Церковной кружкой железной,  
У еретиков, у евреев гроши  
Клянча. Но все бесполезно!

Напрасно концерты великий Франц Лист  
В пользу собора объявит,  
Талантливый декламатор-король  
Вам дела не поправит.

Не будет достроен Кёльнский собор,  
Хотя бы олухи-швабы  
Камней для окончанья его  
Прислали целый корабль.

Достроен не будет он, совам назло  
И воронам! Крик их не страшен,  
Этих ревнителей старины,  
Жильцов колоколенных башен.

Да, и такой наступит день,  
Когда, очистив от сора,  
В конюшню огромную превратят  
Пустое нутро собора!..

«А если конюшней станет собор,  
Что делать предстоит нам  
С тремя царями святыми, что там  
В ковчеге починут гранитном?»

Так спрашивают. Но пристало ли нам  
Миндальничать в нашу эпоху?  
Три этих восточных царя где-нибудь  
Устроятся сами неплохо.

Но я бы советовал их посадить  
(Это лучше всего, поверьте!)—  
В три клетки железные, что висят  
В мюнстерской башне Ламберти.

А не досчитайся вы одного  
Из восточного триумvirата,—  
На западе можно замену найти  
Средь их королевского брата.



## ГЛАВА V

А к рейнскому придя мосту,  
Увидел я восхищенный,  
Как воды катит папаша-Рейн,  
Луною освещенный.

«Поклон тебе, папаша-Рейн!  
Ну, как делишки ныне?  
Тебя не раз я вспоминал,  
Тоскуя на чужбине».

И сразу из глубины речной  
Странный и монотонный  
Старческий кашель заклокотал,  
Брюзжанье, глухие стоны:

«С приездом, сынок! Я рад, что ко мне  
Твое вниманье живо.  
Тринадцать лет я не видел тебя,  
А жилось мне тут паршиво.

«Под Бибрихом я наглotalся камней,  
Ты сам понимаешь—не шутка.  
Но Никласа Беккера стихи—  
Куда тяжелей для желудка.

«Меня он воспел, и по виршам его,  
Я—чистая девица,  
На венчик чести чьей—никто  
Не смеет покуиться.

«Внимая той песне дурацкой, я б  
Изгрыз от злости дамбы,  
Седую бороду б вырвал, в себе  
Я утопился сам бы!

«А что я—не дева невинная, то  
Французы знают отлично:  
Им воды своих побед мешать  
С моей водой—привычно.

«Дурацкая песнь и парень—балда!  
Меня он опозорил, охаял.  
Он и политически меня,  
В известном смысле, облаял.

«Вернись лишь сюда французы, краснеть  
Пришлось, без сомнения, мне бы,  
Мне, кто возвращенья их  
Так слезно молил у неба!

«Ведь я неизменно их так любил!  
Французики, шалунишки!  
Все шутки да прибаутки, как встарь?  
Беленькие штанишки?

«Я бы охотно их вновь повидал,  
Боюсь лишь,—заперсифляжат  
Из-за проклятой песни той,  
Что так меня бламажит.

«Альфред де Мюссе, озорной гамен,  
Придет, пожалуй, с ними  
И, как барабанщик, меня оглушит  
Остротами своими».

Так плакался бедный папаша-Рейн  
В тяжелом сокрушеньи.  
И несколько теплых слов ему  
Сказал я в утешенье:

«Французского злословья ты  
Боишься. папаша, слишком:  
Давно пошел не тот француз,  
Конец уже тем штанишкам.

«Штаны их теперь не белы, а красны,  
И от пуговиц тех отвыкли,  
И шутки не те, прибаутки не те,  
Головами в раздумьи поникли.

«Теперь философствуют и они,—  
Все Кант, да Фихте, да Гегель.  
Табак они курят, пиво пьют  
И не чураются кегель.

«Филистеры стали не хуже нас  
Иль больше в известной доле.  
Они уже не вольтерьянцы теперь,  
А... генгстенбергьянцы что ли.

«Хотя Альфред де Мюссе (это так!)—  
Гамен все тот же дерзкий,  
Но не робей, найдем узду  
На язычок его мерзкий.

«И пусть барабан его тронет тебя,  
Мы свистнем остротой похлеще—  
О том, какие у дамочек с ним  
Порой случались вещи.

«Не унывай, папаша-Рейн!  
Забудь о песне скверной:  
Услышишь лучшую. Прощай!  
Мы встретимся наверно».



## ГЛАВА VI

За Паганини ходил по пятам  
Spiritus familiaris,  
То в образе пса, то как человек,—  
Покойный Георг Гаррис.

Наполеону при важных делах  
Был некто красный вѣдом;  
Свой демон и у Сократа был,—  
И это не было бредом.

Мне лично тоже испытать  
Пришлось такие вещи:  
Ночью сижу за столом, пишу,  
Обернусь—там гость зловещий.

Он что-то скрывал под своим плащом,  
И оно из-под складок под грудью  
Поблескивало порой, как топор,  
Как грозный топор правосудья.

Он коренаст был, а глаза—  
Каждый—звезда большая.  
Поодаль молча он стоял,  
Работе моей не мешая.

Я много лет не видал его,—  
Искать его было бесцельно.  
А тут я внезапно столкнулся с ним  
На лунных улицах Кёльна.

Слонялся я, в думы свои погружен,  
И тут-то он вдруг появился,  
Как тень моя, сзади. Я стал, смотрю—  
И он остановился.

Стоит, как будто чего-то ждет,  
Ускорю шаги,—упорный  
И он заторопится. Так мы дошли  
До площади Соборной.

Но мне надоело, и, оборотясь,  
Сказал я: «Ответь мне ныне,  
Зачем преследуешь меня  
В этой ночной пустыне?»

«Тебя я встречаю всегда в часы,  
Когда исхода ищут  
Мировые чувства в душе, а в мозгу  
Молнии мысли прыщут.

«Что смотришь на меня в упор?  
Ответь: что ты там носишь  
Таинственно блещущее под плащом?  
Кто ты? Чего нибудь просишь?»

Но тот мне ответил тоном сухим  
И несколько флегматичным:  
«Прошу тебя, брось заклинанья свои,  
Не будь таким истеричным.

«Я вовсе не призрак былых времен,  
Не из этих пугал могильных,  
И не поклонник риторики я,  
Философ не из сильных.

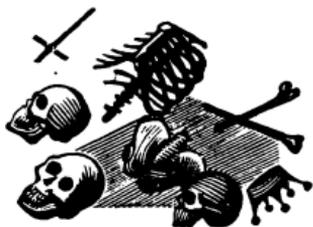
«Я—из практических натур;  
Молчалив и держусь прилично,  
Но знай: все, что замыслил ты,  
Я в жизнь воплощаю обычно.

Готов я годы выжидать,  
Но я добьюсь того, что станет  
Реальностью твой помысел:  
Ты—мыслишь, я—делом занят.

«Да, ты судья, а я только палач,  
И всегда, как слуга радивый,  
Я выполню каждый твой приговор,  
Хотя б и несправедливый.

«Ликтор с секирой шагал впереди  
Консула древнего Рима.  
Твой ликтор ходит сзади тебя  
С секирою незримой.

«Я—ликтор твой. Я за тобой  
С секирой отомщенья  
Хожу всегда и всюду. Я—  
Мысли твоей воплощенье».



## ГЛАВА VII

Дома уснул я, как будто меня  
Убаюкали добрые духи.  
В немецкой постели так мягко спать,—  
Ведь ты лежишь на пухе.

Как часто мечтал понежиться я  
На отечественной перине,  
Когда на жестких матрацах лежал  
В бессонице, на чужбине.

Как спится в них, как снится в них,  
В наших постелях пуховых!  
Немецкой душе тут легко забыть  
О всех земных оковах.

Свободная, воспаряет она  
В высочайший простор небесный.  
Душа немецкая! Ночью, во сне—  
Как горд твой полет чудесный!

Боги бледнеют, когда ты летишь,  
А ты, забыв о звездах,  
Крылами часто тушишь их,  
Смущая сонный воздух.

Французам и русским подвластна земля,  
Моря покорны бриттам,  
В воздушном же царстве грез—мы одни  
Владычим истари там.

Тут наша гегемония,  
Тут мы объединились;  
Другие нации—внизу,  
На плоской земле расселились...

Когда же заснул я, приснилось мне,  
Что вновь я слоняюсь бесцельно  
По гулким, залитым ярко луной  
Улицам древнего Кёльна.

И будто одячь он шел за мной.  
Мой спутник закутанный, черный.  
Я так устал, еле ноги волок,  
Но оба мы были упорны.

Мы шли все дальше. И сердце в груди  
Зияло резаной раной,  
И крупными каплями из него  
Сочился сок багряный.

Я часто пальцы туда погружал  
И, действуя как-то смутно,  
Кровью своей на дверных косяках  
Что-то чертил попутно.

И стоило мне так мазнуть  
Какой-нибудь дом,—погребальный  
Звон доносился издалека,  
Протяжный, глухой, печальный.

Меж тем на небе тускнела луна.  
Темнело. Как черные кони,  
Дикие тучи неслись за ней  
В неукротимой погоне.

А спутник мой все шагал мне вслед,  
Пряча топор свой острый.  
Мрачайшая личность! Вот так мы с ним  
Прошли, должно быть, версты.

Мы шли и шли, пока, наконец,  
Вернулись на площадь собора.  
А двери в нем—настежь,—мы оба туда  
Вошли без уговора.

Лишь смерть да ночь, да безмолвье на нас  
Дохнули из этой громады,  
Где, лишь подчеркивая мрак,  
Мерцали кой-где лампы.

Я долго расхаживал вдоль колонн  
И слышал только гулкий  
Шаг спутника моего. Он за мной  
Ходил во все закоулки.

И вот забрели мы в один уголок:  
Там—свеч восковых благолепье,  
Блеск золота и бриллиантов. Мы—  
В трисвятоцарском склепе.

И видим: три святых царя  
В коронах, но не при шпагах—  
О, чудеса!—сидят, развалясь,  
На собственных саркофагах.

Сидят три скелета, и, кроме корон  
На черепах пожелтелых,  
Я таюже скипетры еще  
В руках костяных разглядел их.

По-гаерски как-то дергались их  
Давно истлевшие кости;  
И тленом и ладаном пахло здесь,  
На царском их погосте.

Один из них даже ртом шевельнул,  
И нудно святой этот некто  
Мне стал излагать, почему от меня  
Он требовать вправе режпекта:

Во-первых, он давно мертвец,  
Во-вторых, он носит корону,  
А в-третьих, он, как-никак, святой...  
Но меня он этим не тронул,

И я, рассмеявшись, ответил так:  
«Своим красноречием пошлым  
Меня ты не убедил. Все равно—  
Ты весь безнадежно в прошлом!

«Прочь! Прочь скорей! Могила вам—  
Вполне подходящее место.  
А на сокровища эти—жизнь  
Наложит печать ареста.

«Грядущего буйная конница пусть  
Живет здесь, ночуя и дняю.  
А если не миром, то силою вас,  
Дубинками разгоню я!»

Тут обернулся я, и насквозь  
Меня вдруг ужас пронял:  
Зловеще блеснул предо мной топор...  
Намек—мой спутник понял.

Он подошел и давай громить  
Своим топором без пощады  
Скелеты былых суеверий. Трещат  
Кости святой плеяды!

И страшное эхо пошло греметь,—  
Весь древний собор содрогнулся.  
И хлынула кровь из моей груди...  
И тут-то я проснулся.



## ГЛАВА VIII

От Кёльна до Гагена дилижанс  
Пять талеров стоит шесть грóшей.  
Он был переполнен, и ехать пришлось  
Мне в бричке не больно хорошей.

Сырой, осенний, серый день.  
Повозка в грязище вязла.  
Но радость била во мне ключом  
Осенним стихиям нáзло.

Ведь это ж воздух родины, да!  
Его на щеках ожоги.  
И не отечественное ль дерьмо  
В грязи столбовой дороги?

Хвостами помахивали находу  
Приветливо лошади наши,  
Катыши их помета казались мне  
Атлантовых яблок краше...

Проехали Мюльгейм. Неплох городок!  
Смирней, прилежней народа  
Не сыщешь. С мая не был я там  
Тридцать первого года.

В ту пору стояло все в пышном цвету,  
Ликовали солнечно дали,  
И птицы пели, о чем-то томясь,  
И люди надеялись, ждали,—

Мечтали: «Вот-вот избавимся мы  
От рыцарей облезлых,  
Но перед разлукой попотчует их  
Из длинных бутылок железных.

«Играя, танцуя, свобода придет  
С бело-сине-красным штандартом...  
А, может быть, даже и вместе с ним,  
С покойником Бонапартом!»

Ах, боже! Рыцарство все еще тут!  
И смотришь, иной идиотик,  
Пришедший сюда, как спичка, тош,  
Нагулял солидный животик.

Канальи бледные, с видом святым  
Любви, надежды и веры,  
Успели нашим вином себе  
Носы нарумянить сверх меры!

А свобода ногу свихнула себе,—  
Где прежняя прыть и сила?  
Трехцветный флаг свисает теперь  
С парижских башен уныло.

Успел император из гроба восстать,  
Но английские черви отлично  
Его укротили. И он себя  
Дал закопать вторично.

Я сам его похороны видал:  
Золотой катафалк, на котором  
Золотые богини победы несли  
Золотой его гроб под флером.

Медленно, вдоль Елисейских полей,  
Под аркой Триумфальной—  
Сквозь плотный туман, сквозь снег густой—  
Тянулся кортеж погребальный.

Фальшивил оркестр. Музыканты шли  
Окоченелые, сгорбив  
Плечи. А со штандартов орлы  
Кивали мне в тяжелой скорби.

Как призраки, люди брели, погружаясь  
В воспоминанья былого.  
Империи сказочная мечта,  
Казалось, воскресла снова.

Я плакал в тот день. Я слез удержать  
Не мог в тот момент великий,  
Когда услышал «Vive l'Empereur!»  
Благоговейные клики.



## ГЛАВА IX

Из Кёльна утром выехал я,  
В три четверти восьмого.  
В Гаген мы прибыли около трех,—  
К обеду все было готово.

Тут подлинно был я встречен всей  
Старогерманской кухней.  
Капuste квашеной—привет!  
Какой благородный дух в ней!

Каштаны в зеленой капусте! Я так  
Едал их у матушки часто.  
Привет, отечественная треска!  
И в масле ты плавать горазда!

Навеки дорого чутким сердцам  
Отечество. Был я в восторге  
От копченой, тушеной селедки с яйцом,  
От ее поджаристой корки.

О, жирных сосисок ликующий вид!  
Как жареные херувимы,  
В пюре из яблок пищали дрозды:  
«С приездом! С приездом, родимый!

«С приездом, земляк!—щебетали они,—  
Но, вопреки приличью,  
Уж больно долго охотился ты  
За иностранной дичью!»

Гусыня была еще там на столе—  
Добродушнейшая особа!  
Быть может, она любила меня,  
Когда были мы юны оба.

Так многозначителен был ее взгляд,  
Грустный, преданный, теплый!  
Нежна, безусловно, была в ней душа,  
Но мясо—жестче воблы.

Свиную голову подали,—сплошь  
Оловянное блюдо покрыла...  
У нас и поныне лавровым листом  
Украшают свиные рыла.



## ГЛАВА X

За Гагеном настала ночь,  
И кишки мои от озноба  
Тряслись. Только в Унне, в корчме,  
Отогрелась моя утроба.

Девченка смазливая налила пунш.  
У этой красотки из Унны  
Кудряшки были, как желтый шелк,  
Глаза—что кроткие луны.

Ее шепелявый вестфальский акцент  
Восторженно слушал опять я.  
А пунш, испаряясь, в мозгу воскрешал  
Память о вас, мои братья,—

Вестфальцы милые, с кем мы не раз  
Пивали в Геттингене  
И замертво падали под столы  
От сердечных откровений.

Я вас неизменно так любил,  
Мои добряки-вестфальцы!  
Столь искренний, преданный, верный народ,  
Без двуличия и бахвальства..

Как важно они на мензуре стоят!  
В каждом—львиное сердце!  
Как выпады их безупречны всегда,  
Все кварталы их и терцы!

Здоровы пить, здоровы бить,  
А в дружбе—дорого-любо  
Глядеть, как плачут они от любви,  
С сентиментальностью дуба.

Да хранит тебя небо, честный народ,  
И щедротами не оставит,  
И от войны, и от славы тебя,  
И от героизма избавит!

Пускай всегда твоим сынам  
Дает оно легкий экзамен,  
И по-хозяйски твоих дочерей  
Ведет под венец.—Amen!



## ГЛАВА XI

Так вот он, Тевтобургский лес,  
Что Тацитом описан;  
Классическая топь, где Вар  
Застрял, где навеки закис он!

Тут был он Германом разбит,  
Херусским доблестным князем.  
Германская национальность вся  
Обязана этим грязям.

Сплошай тут Герман со своей  
Ордою белокурой,—  
Не быть бы немецкой свободе! Нам  
Под римской бы жить диктатурой!

И римские нравы пошли б у нас,  
И римская речь пошла бы;  
Весталки и в Мюнхене бы нашлись,  
Квиритами стали бы швабы.

Гаруспексом был бы Генгстенберг,  
Копался бы он в бычьих  
Кишках. Неандер авгуром бы стал,  
Докой в полетах птичьих.

Бирх-Пфейфер дула бы терпентин,  
Как римская матрона,  
(Говорят, от этого их моча  
Делалась благовонна).

Не стервой немецкой бы Раумер был,  
Он был бы римский Стерваций.  
Писал бы без рифмы Фрейлиграт,  
Как некогда Флакк Гораций.

Грубый христарадник, батя Ян,  
Назывался б теперь Грубиянус.  
Ме Hercule! Масман латынью б владел,  
Масман! Марк-Туллий Масманус!

И на арене дрались бы теперь  
Против львов, гиен и шакалов  
Поборники истины,—это не то,  
Что шавки из мелких журналов.

Не три бы дюжины,—*один*  
Нерон у нас был незабвенный;  
И, назло палачам, себе  
Мы сами вскрывали бы вены.

А Шеллинг стал бы Сенекою  
И кончил бы тем же конфликтом.  
Корнелиусу мы могли бы сказать:  
«*Cacatum non est pictum!*»

Но Герман—слава творцу!—победил,  
И римляне вспять подались;  
Вар с легионами костями тут полег,  
И немцами мы остались.

Да, немцы мы! По-немецки мы  
Говорим до последней бабы.  
Осел есть осел, а не—«*asinus*»,  
А швабы—это швабы.

Все та же стерва Раумер наш,  
Но с орденом, я слышал;  
Стихи рифмует Фрейлиграт,—  
В Горации не вышел.

Бог выручил! Масман в латыни—ни в зуб.  
Строчит Бирх-Пфейфер драмы,  
А мерзкого терпентину не пьет,  
Как знатные римские дамы.

О, Герман! Тебе мы признательны в том!  
За это вполне уместно  
В Детмольде памятник ставят тебе.  
И я внес лепту честно.



## ГЛАВА XII

В ночном лесу наша бричка ползла,  
Ковыляя во тьме дремучей.  
Вдруг—треск. Сорвалось колесо. И—стоп!  
Не слишком забавный случай.

Почтарь бежит в село, а я—  
У брички (у трехколки)  
В глухой ночи, в лесу —один,  
Остался, и слышу—волки!

Да, это вой голодных волков,  
Свирепых, готовых к драке.  
Я вижу, их глаза горят,  
Мерцают, как свечи, во мраке.

Иль, о приезде пронюхав моем,  
Решил совет этих бестий  
Плошки зажечь и дать концерт  
Для оказанья мне чести?

Да, хор их мне серенаду поет.  
Как звучен он, как строг он!  
Я сразу в позитуру стал  
И сказал, глубоко растроган:

«Соволки! О, как счастлив я  
Быть в вашем кругу сегодня.  
Сердечно провытых вами чувств—  
Что может быть благородней?

«То, что сейчас я испытал,—  
Попробуйте-ка, измерьте!  
Ах, в памяти сей дивный час  
Я сохраню до смерти!

«Спасибо за доверье вам,  
Любезные созданья!  
Вы целым рядом фактов его  
Доказали в дни испытанья.

«Соволки! Вы не усомнились во мне  
И не попались в капканы  
Мошенников, уверявших, что я  
Перешел к собакам поганым,

«Что ренегат я и вскорости, мол,  
Я стану овечьим гофратом...  
Считаю я ниже себя отвечать  
Таким дегенератам.

«Овечий тулуп, надеваемый мной,  
Чтоб от стужи себя уберечь им,  
Поверьте, никак не заставит меня  
Мечтать о счастье овечьем.

«Я не овца, не пес, не треска,  
Не гофрат и не прочая сволочь я,—  
Все тот же я волк! Волчьи зубы мои,  
И душа моя—тоже волчья!

«Я—волк, с волками буду выть.  
Считайте с полным правом,  
Что ваш я. Не плошайте вы,  
И бог пошлет добра вам».

Вот эту речь экспромтом я  
Сказал, в печать не метя.  
Но Кольб ее, сказав, поместил  
В своей «Всеобщей газете».



### ГЛАВА XIII

Нехотя, с кислой миной взошло  
Солнце у Падерборна.  
Дурацкую землю всегда освещать—  
Скучнейшая должность, бесспорно.

Одно полушарие озаришь  
И только со скоростью света  
Придешь ко второму,—на первом уже  
Темно. Работа ли это?

Сизифов камень вниз летит,  
Данаиды бочку пустую  
Никак не нальют. И над шаром земным  
Солнце горит вхолостую!..

Но лишь растаял рассветный туман,—  
В сияньи зари, на дороге  
Предстал мне тот, кому на кресте  
Прогвоздили руки и ноги.

Твой образ во мне вызывает грусть,  
Мой родич бедный, невзрачный!  
Ты мир хотел искупить, глупец,  
Спаситель неудачный!

Синедрионцы с тобой обошлись  
Преподло, предательски прямо...  
Но кто тебя дернул язык распускать  
О делах государства и храма?

Печатный станок на твою беду  
Никем еще в то время  
Не изобретен был: книжку издать  
Мог бы о небесной проблеме.

В рискованных для земли местах  
Твой цензор бы сделал купюры,  
И ты б от распятья избавлен был  
По милости цензуры.

Ах, если бы чуть измененный текст  
Имел ты для нагорной речи!  
Так талантлив, умен—с фарисеями ты  
Мог терпимее быть, человече!

А ты... ты менял и банкиров плетью  
Изгнал из храма господня!..  
Вот ты на кресте, в назидание всем,  
Висишь и посегодня!



## ГЛАВА XIV

Промозглый ветер, грязь, туман.  
Мы голыми едем полями.  
А в сердце моем все звучит и звенит:  
«Солнце, ты мстящее пламя!»

Это—старинной песни припев,  
Что пела мне часто няня.  
«Солнце, ты мстящее пламя!» Всплывал  
Лесной рожок в сознаныи.

В той песне про убийцу речь,—  
Он жил—нельзя счастливей.  
И вот, наконец, он был найден в лесу  
Повешенным на иве.

Был тут же смертный приговор  
Начертан с такими словами:  
«Суровая Фема свершила сие,—  
Солнце, ты мстящее пламя!»

Обвиняло тут солнце. Убийца понес  
Наказание, вровень с делами.  
Оттилия с воплем таким умерла:  
«Солнце, ты мстящее пламя!»

И-вспомнив ту песню, я вспомнил ее,  
Старушку-нянюшку тоже.  
Морщинку каждую вспомнил я  
На старческой, смуглой коже.

Она из-под Мюнстера родом была,  
И как был богат, интересен  
Запас ее страшных преданий, легенд,  
Народных сказок и песен!

Как я трепетал при рассказе о том,  
Как бедная королева,  
Золотокудрая, пасла  
Гусей на лугу ежедневно.

Гусей, как пастушка, она пасла  
И в скорби застывала,  
Обратно под вечер их гоня,  
У врат городского вала.

Была голова бедняги-коня  
К воротам тем прибита.  
Увы! Изгнанницу сюда  
Примчали его копыта.

«Вот ты повешен, Фалада-свет!»  
Королевна вздыхала тяжко.  
И конский череп ей в ответ:  
«Гусей пасешь, бедняжка!»

«Пастушкой увидь меня матушка-свет...»—  
Вздыхала вновь королевна,  
И конский череп ей в ответ:  
«Да, кончилось бы плачевно!»

Мне дух перехватывало, когда  
Таинственно, в самое ухо  
Об императоре Ротбарте мне  
Шептать начинала старуха.

«Он вовсе не умер,—внушала она,—  
Не верь ученым басням;  
Он скрылся в далекой горе, и ушли  
Соратники все туда с ним».

Кифгейзер—имя той горы,  
А в ней—пещера. И в пыльных,  
Высокосводчатых залах горит  
Призрачный свет в светильнях.

Конюшной служит первый зал,  
И тысяча в нем яслей;  
Там сбруя на конях, как жар,  
А шерсть блестит, как в масле.

Оседлан, взнуздан каждый конь,  
Всегда готов к погоне,  
Но ржанья не слышно и топота нет—  
Стоят, как чугунные, кони.

И дальше—зал. На сене там  
Лежат и спят солдаты.  
Их тысячи. Крепкий, военный народ,  
Суровы лицом, бородаты.

Вооружены с головы до пят,  
Но, в сон мертвецкий канув,  
Никто не всхрапнет, никто не вздохнет  
Из этих великанов.

А в третьем зале—копья, мечи,  
Секиры—груды оружия,  
Кольчуги и латы, и шлемы висят,  
И старо-франкские ружья.

И несколько пушек—достаточно, чтоб  
Трофейной стоять батарее.  
И стяг черно-красно-золотой  
Венчает эти трофеи.

В четвертом зале сам Ротбарт живет.  
Сидит он века за веками  
На троне гранитном, за гранитным столом,  
Главу подперев кулаками.

Земли достигла борода,  
И пламени багровой.  
А сам он—то вдруг прищурит глаз,  
То сдвинет угрюмо брови.

Он спит иль в думу погружен?  
Не скажешь точно по виду.  
Но встанет он в урочный час,  
Чтоб отомстить за обиду.

И схватит славное знамя свое,  
И крикнет: «По кóням, братцы!»  
И вскочат, оружием гремя, молодцы,  
И гаркнут: «Рады стараться!»

И—на коней. А кони ржут,  
Копытами землю роя.  
И трубы зывают, и в шумный мир  
Летят в карьер герои.

Лихи в седле, лихи в бою,  
А выспались на славу!  
Решил император учинить  
Убийцам суд и расправу—

Убийцам девы дорогой  
С лучистыми глазами,  
Золотокудрой Германии...  
«Солнце, ты мстящее пламя!»

И всем, кто беспечно в замках своих  
К совести кончил запросы,  
Им петлю возмездия вяжет рука  
Разгневанного Барбароссы.

Как нянины сказки чудесно звучат!  
И гулками колоколами  
Гудит суеверное сердце мое:  
«Солнце, ты мстящее пламя!»



## ГЛАВА XV

А дождь ледяной строчит, строчит  
Миллионами игол швейных.  
И потные клячи крутят хвосты,  
Купаясь в лужах шоссейных.

В дорожный рог трубит почтарь,—  
Мне штучка эта знакома:  
«Три всадника выехали из ворот...»  
Но путала мысли дрема.

Ко сну клонило. Я заснул,  
И мне приснилось такое:  
Я, будто, к Ротбарту попал  
В пещерные покои.

На троне гранитном, за гранитным столом  
Не сидел он гранитной скульптурой;  
И не такой, как рисуют себе,  
Он был непрístupный и хмурый.

По залам своим он слонялся со мной,  
Болтал—нельзя задушевной,  
Как настоящий антиквар,  
У каждой диковинки древней.

Меня в арсенале владеть булавой  
Учил он,—наука простая.  
И ржавчину он вытирал с мечей  
Полою горносталя.

Он взял павлиний хвост и стал  
Пыль отряхать с несметных  
Старинных доспехов, кольчуг, шишаков  
Серебряных и медных.

Со знамени тоже смахнул он пыль  
И сказал: «Тут себе я позволю  
Похвастать особо: в древке—ни червя,  
А шелк—нетронут молью!»

Когда же в тот вошли мы зал,  
Где спали мертвецки-тяжко  
В поход готовые бойцы,  
Мне гордо шепнул старикашка:

«Прошу тут потише ступать и болтать,  
Не то мы людей перебудим.  
Нынче столетье опять истекло,—  
Платеж сегодня людям».

Гляжу, император тихохонько так  
Идет от солдата к солдату  
И каждому осторожно в карман  
Сует он по дукату.

С ухмылочкой он мне сказал,  
Мое удивленье почуя:  
«Таков уж порядок—на брата дукат  
В конце столетья плачу я».

А в зале, где тянулись вдаль  
Немыми шеренгами кони,  
С особой радостью потер  
Мой император ладони.

Поштучно он стал считать лошадей  
И каждую хлопал по ребрам;  
Считал и считал он, и губы его  
Тряслись в азарте недобром.

И он с досадой сказал:  
«Вот видишь,—не без неполадок!  
Солдат и оружия—полный комплект,  
Но недобор лошадок.

«Я ремонтеров разослал  
Повсюду, чтобы лучших  
Они скупали лошадей.  
Немало тут новых штучек.

Вот—скомплектую лошадей,  
Да по врагам как ударю!  
Отечество освобожу и народ,  
Преданный государю!»

Так рек император. А я вскричал:  
«Ударь! Ты б нас мог осчастливить!  
Ударь, старина! А нехватка в конях,—  
Так есть вместо них ослы, ведь!»

«Ну, дело не к спеху!—Ротбарт сказал  
И рассмеялся негромко.—  
Не сразу же был воздвигнут Рим!  
Не под дождем—подождем-ка.

«Не нынче, так завтра. Дуб долго растет,  
Зато—несокрушимо.  
И «*chi va piano, va sano*»—гласит  
Одна из пословиц Рима.



## ГЛАВА XVI

Толчок повозки меня разбудил,  
Но в ту же минуту ресницы  
Опять сомкнулись. Я заснул,  
И снова мне Ротбарт снится.

Я снова с ним, болтая, бродил  
По гулким залам подземным;  
Он спрашивал о том, о сем  
И как там живетя всем нам.

От нас к нему давным-давно,—  
Пожалуй, что с Семилетней  
Войны,—ни слова не дошло,  
Ни весточки, ни сплетни.

«Что Каршиха? Как Моисей Мендельсон?»  
Он проявил интерес свой  
К madame Дюбарри, что была Луи  
Пятнадцатого метрессой.

«О, император,—воскликнул я,—как  
Отстал ты! Чудовищно прямо!  
Моисей? На кладбище давно он лежит  
С Ревеккой и с сыном Абрамом!

«Абрам этот с Лией роди сынка,  
Зовут его Феликс. В еврействе  
Он так далеко не пошел бы,—ведь он—  
Придворный капельмейстер.

«Давно и старуха Карш в гробу,  
Скончалась и дочь ее, Кленке;  
Гельмину же Шези, внучку ее,  
Еще, будто, носят коленки.

«А Дюбарри... При Людовике том,  
При пятнадцатом резвой графине  
Жилось—не тужилось! А кончила жизнь  
Старухой на гильотине.

«Людовик пятнадцатый в бозе почил  
На своем королевском ложе;  
Шестнадцатый—гильотинирован был.  
И Антуанетта с ним тоже.

«Достойно себя королева вела,  
Как ей и подобало.  
А вот Дюбарри... та рыдать и кричать  
При этом не переставала...»

Но тут император вдруг стал и спросил,  
С застывшим страхом во взгляде:  
«Гиль-о-ти-нировать?.. Но объясни,  
Что это, бога ради!»

«Это,—втолковывать стал я ему,—  
Новейшее достижение  
В деле отправки на тот свет людей,  
Независимо от их положенья.

«При методе этом пускается в ход  
Одна простая машина,—  
Ее изобрел господин Гильотен,  
Потому она—гильотина.

«Представь: пристегнут ты к доске,  
Ее опускают,—ты вдвинут  
Меж пары брусьев стоячих; вверху—  
Треугольный топор опрокинут.

«Потянут шнурок,—топор тот вниз  
Как рухнет—легко, с задором!  
При этом твоя голова летит  
В простой мешок, в котором...»

«Цыц!—крикнул император вдруг,—  
Об этой твоей машине  
Знать не хочу! Избави бог  
Прибегнуть мне к гильотине!

«К доске! Пристегнуты! Короли!  
И королева! Это—  
Неуваженье, ведь, к властям!  
И против этикета!

«А ты... да кто ты, чтоб тыкать мне  
Так фамильярно? Невежу  
Видали такого? Школяр! Уж тебе  
Я крылышки подрежу!

«Вся желчь у меня разлилась, когда  
Ты каркал, как ворона.  
В самом твоём дыханьи—бунт  
И оскорбленье трона!»

Когда захлебнувшийся в гневе старик,  
Мои преступления числа,  
Вот так разошелся,—то тут прорвало  
И мои сокровенные мысли:

«Негг Ротбарт! Ты—лишь персонаж  
Предания, не боле.  
Ступай же спать. Мы и без тебя  
Своей добьемся воли.

«Ведь республиканцы, узнав, что наш вождь —  
Призрак, с такой бородищей,  
В короне, со скипетром,—сделают нас  
Острот жестоких пищей.

Да мне надоело и знамя твое;  
Старогерманские дурни не сгибли,  
Но охоту они и в студенчестве мне  
К черно-красно-золотому отшибли.

«А лучше всего—сиди себе тут,  
В Кифгейзере этом старом.  
По совести, ведь, императоры нам  
Теперь не нужны и даром.



## ГЛАВА XVII

Поссорился с императором я  
Во сне, во сне. С вопросом  
Таким кто рискнет наяву  
Обращаться к венценосцам?

Лишь грезя, лишь в идеальном сне  
Наш немец, собой не владея,  
Дерзнет монарху открыть глубоко  
Скрываемые идеи...

Когда я проснулся, мы были в лесу,  
И вид дубняка и березы—  
В нагой, деревянной реальности их—  
Мои рассеял грезы.

Кивали вершинами строго дубы,  
Берез амфитеатр  
Угрюмо шумел, и воскликнул я:  
«Прости, дорогой император!

«Прости мне о Ротбарт, дерзость мою!  
Я просто плохой оратор,  
Запальчивый слишком. А ты—ты так мудр!  
Гряди, гряди, император!

«А не по душе гильотина тебе,  
И старую ценишь сноровку,—  
Пожалуйста, меч оставь для дворян,  
Для престоляродья—веревку.

«Но регламент меняй: дворян  
Вздери двух-трех сегодня,  
А завтра мещан и крестьян обезглавь,—  
Мы все—творенья господни.

«Застенки Карла Пятого—вновь  
Восстанови с успехом  
И раздели опять народ  
По сословиям, гильдиям, цехам.

«Священную Римскую восстанови  
Империю, культурный  
Вернув ее хлам, всю гниль, всю труху,  
Весь блеск ее мишурный.

«Средневековье? Хоть и так!  
Мы этого идиотизма  
Снесем еще гнет. Но избавь же нас—  
От гермафродитизма

«Гамашного нашего рыцарства, всей  
Той смеси отвратнейшей, ибо  
Бред готики и современная фальшь—  
Ни мясо и ни рыба.

«Итак, разгони весь актерский сброд,  
Скорей—на замок театр,  
Где пародируют старину!..  
Гряди, гряди, император!»



## ГЛАВА XVIII

Крепость Минден имеет вид  
Солидной цитадели.  
Но крепости прусской не столь я большой  
Любитель, в самом деле.

Туда мы прибыли к вечеру.  
Так страшно кряхтел подъемный  
Мост, когда мы проезжали, а ров  
Зиял, как бездна, темный.

Высокие бастионы меня  
Пугали молчаньем угрюмым.  
Гремя, ворота раздались  
И с тем же закрылись шумом.

Ах! Мне так жутко стало вдруг,  
Как Одиссею, к примеру,  
Когда утесом Полифем  
Заваливал вход в пещеру.

Тут к нам подошел и спросил: «Как звать?»  
Капрал какой-то, шельма.  
«Никто» зовусь я. Врач я глазной,  
Снимаю циклопам бельма».

В гостинице я и совсем захандрил.  
Поужинав как-то вяло,  
Я спать залег, но не спалось:  
Душили меня одеяла.

Там был громадный пуховик,  
Гардины из красной камчатки,  
Поблекшего золота балдахин  
И кисть—не тронь без перчатки.

Проклятая кисть! Отравила мне ночь!  
От пота подушка взмокла, -  
А я—не спал. Эта кисть надо мной  
Висела, как меч Дамокла.

А то—головою змеиной она  
Шипела мне: «Не суматошья!  
В сей крепости будешь всю жизнь ты жить,  
Отсюда не спасешься!»

«О, если бы,—вздыхал я тут  
В припадке суеверья,—  
Вернуться мог к жене, в Париж,  
В Faubourg Poissonière—я!..»

Еще мне мерещилось, что мой лоб  
Холодным чем-то черкали.  
И мысли мне туманил страх:  
Не цензорская рука ли?

Жандармы в саванах белых мою  
Кровать обступили нахальной  
Ватагою привидений, и ляг  
Я слышал уже кандалный.

Ах! Привиденья хватают меня,  
Волокут меня! Я арестован!  
И вот—к одной крутой скале  
Я напрочно прикован.

Но мерзкая балдахинная кисть,  
Вся грязная, как в дегте!..  
Она уже коршуном стала, и вот—  
Черные перья и когти.

А в коршуне—сходство с прусским орлом!  
В меня его когти вонзились.  
Он печень мою терзал, я вопил,  
Стенал я, вырваться силясь.

И долго вопил я. Но крикнул петух,  
И спас от кошмара злого...  
Я в Миндене, в потной постели лежал,  
А хищник стал кистью снова.

Вдохнул же полной грудью я,—  
Спасибо экстра-почте!—  
Когда на лоно природы попал,  
На бюкебургской почве.



## ГЛАВА XIX

О, как ты ошибся, Дантон, и как  
Расплатиться за это пришлось-то!  
Унести на подошвах отечество,  
Оказывается,—просто.

С полбюкебургского княжества мне  
На сапоги тут налипло;  
За всю свою жизнь не видел я  
Дороги более гиблой.

Я в Бюкебург завернул лишь затем,  
Чтобы там поглядеть хорошенько  
На дедовский замок. А бабка моя—  
Гамбургская уроженка.

Приехав к полдню в Ганновер, я  
Штиблеты почистил до блеска  
И город пошел изучать: люблю,  
Чтоб с пользой была поездка.

Мой бог! Какая чистота!  
Средь улиц навоза не сыщешь.  
А зданья—роскошь! До чего  
Внушительные домища ж!

Понравилась площадь одна мне: простор,  
Солиднейших зданий оправа.  
Живет король там, дворец его там,  
Он внешне—красавец, право,—

(Дворец, то-есть). У подъезда стоят  
Две будки. Свирепо и дико  
Глядят караульные—красный мундир,  
В руках—карабин, пройди-ка!

Мой чичероне молвил: «Здесь  
Живет Эрнст-Август,—высоко-  
Сиятельный тори и лорд, дворянин,  
Не по годам полный соков.

«Он идилически живет:  
Не столь, ведь, гвардейцев ружья  
Ему обеспечивают покой,  
Сколь наших друзей малодушье.

«Мы видимся с ним,—он ропщет всегда  
На судьбу, говоря о том нам,  
Как скучно королевский пост  
Влачить в Ганновере скромном.

«Он жить по-великобритански привык.  
Ему здесь тесно, гложет  
Его жестокий сплин. Говорит,  
Что кончить пётлей может.

«Застал его утром я позавчера  
У камина; он чуть не плакал,  
Собственноручно грея клистир  
Своим больным собакам».



## ГЛАВА XX

От Гарбурга ехал я час всего  
До Гамбурга. Был уже вечер,  
Был воздух нежен и свеж, и я  
Был звездами привечен.

Лишь к маменьке я заявился, она  
От радости сначала  
Вся обмерла и, руками всплеснув  
«Дитя мое!» закричала.

«Сынок родной, тринадцать лет  
Прошло, однако! Шутка?  
Чего б тебе покушать дать?  
Голоден, верно, жутко?»

«Есть рыбка, есть гусятинка  
И апельсины—прелесть!..»  
«Дай рыбу, дай гусятину.  
И апельсины? Прелесть!»

Пока я с большим аппетитом ел,  
Мамаша, с видом счастливым,—  
Вопрос о том, вопрос о сем,  
Порой кой о чем щекотливым.

«Каков на чужбине уход за тобой?—  
Мамаша подъехала робко,—  
Жена твоя смыслит в хозяйстве? Как  
Заплата белья и штопка?»

«Ах, мама, рыбка так вкусна,  
Но любит молчание рыба:  
Ведь может косточка в горле застрять,—  
Так... не мешай. Спасибо!»

Когда я справился с рыбой, гусь  
Мне подан был с подливой.  
Опять моя маменька—то да се,  
И снова вопрос щекотливый.

«Дитя мое! В какой стране  
Живется легче? Здесь ли,  
Во Франции ли? Кто лучше—они,  
Иль мы, на выбор если?»

«Ах, маменька, немецкий гусь  
Хорош, но не скрою факта:  
Французы лучше шпигуют гусей,  
Пикантней их соусы как-то».

Когда же и гусь изволил отбыть,  
Ко мне с изъявленьем вниманья  
Пришли апельсины. Их аромат  
Превысил все ожиданья!

А мама—опять за расспросы свои,  
С невиннейшею миной,  
О тысяче всяких предметов, причем  
Иной—и не столь невинный.

«Дитя мое! А как теперь  
Настроен ты? Все ли ты занят  
Политикой? В какую тебя  
Партию нынче тянет?»

Ах, апельсины, мамашенька,  
Чудесны! От них я в восторге.  
Я высосал их сладкий сок  
И, как видишь, оставил корки».



## ГЛАВА XXI

Полгорода сгорело, но  
Уже сейчас (не чудо ль?)  
Частично застроено. Гамбург—точь-в-точь  
Полуобстриженный пудель.

Не стало улиц кой-каких.  
Где дом, в котором когда-то  
Узнал я первый поцелуй,  
Где я любил так свято?

Где типография, куда  
«Картины путевые»  
Сдавал в печать я? Тот погребок,  
Где устриц ел впервые?

А Дрекваль? Где Дрекваль! Куда он исчез?  
Ах, тщетно искать квартал сей!  
Где павильон, в котором я  
Пирожными обедался?

А ратуша, где царил сенат  
И где цвет купечества правил?  
Огня добыча! Святая-святых—  
И ту огонь не оставил.

Там люди стонут до сих пор  
Под впечатленьем кошмара.  
От них всю страшную я узнал  
Историю пожара:

«Горело сразу со всех концов  
Сплошь—дым и пламя, ужас!  
Пылали колокольни вокруг,  
С треском и грохотом рушась.

«Сгорела биржа вся до тла,  
Где наши отцы, как известно,  
Крутили веками дела меж собой,  
Поскольку возможно, честно.

«Но банк—серебряная душа  
Города—с книгами вместе,  
Где лицевые все счета,—  
Они, слава богу, на месте.

«И—слава богу!—несчастьем сердца  
И дальних народов тронув,  
Мы сделали дельце: нам сбор подписной  
Дал до восьми миллион.

«Хоть ведали кассой пособий—лишь  
Достойнейшие христиане,  
Но шуйца не знала, сколько себе  
Десница оттуда тянет.

«Рекою деньги к нам текли  
В открытые ладони,  
Но принимали мы и провиант,—  
Тут не до церемоний.

«Одежду нам присылали, белье,  
И хлеб, и суп, и мясо.  
Хотел даже прусский король прислать  
Два-три полка запаса.

«Ущерб материальный нам  
Покрыли, спасибо! Хватит!  
Но наш испуг, наш переполох—  
Его никто не оплатит»...

Я ободрял их: «Друзья мои, вам  
Так убиваться—не гоже.  
Троя—Гамбургу не чета,  
А, ведь, сгорела тоже.

«Отстраивайте вновь дома  
И лужи осушайте,  
Свои законы и помпы свои  
Пожарные улучшайте.

«Не сыпьте слишком много в супы  
Кайенского жгучего перца.  
И карпы, что варите вы с чешуей,  
Жирны,—это вредно для сердца.

«В индейке нет почти вреда.  
Но вам напакостит быстро  
Та птица, что яйцо свое  
Снесла в парик бургомистра.

«Кто эта поганая птица, мне  
Вам напоминать неприятно.  
Подумаю только о ней,—из кишек  
Вся пища лезет обратно!»



## ГЛАВА XXII

Но люди изменились тут  
Сильней, чем сам город старинный.  
Разбитые, хмурые бродят они—  
Ходячие руины.

Худые стали еще тощей,  
Тучные—жиру набрали,  
Состарились дети, средь стариков  
Многие в детство впали.

Иных, кого я телятами знал,  
Нашел быками ныне;  
И много маленьких гусят  
Уже матерые гусыни.

Старуху Гудель я встретил. Вся  
Расфуфырена, как сирена,  
И размалевана; локоны—смоль,  
Вставные зубы—пена.

Лишь друг мой бумаготорговец—почти  
Такой же, как был постоянно;  
Желтей лишь волос ореол,—он похож  
На крестителя Иоанна.

Я Галле видел мельком лишь,—  
Юркнул и был таков он!  
Я слышал, сгорел его ум, что был  
У Бибера застрахован.

И старый цензор мой опять  
Мне встретился. С помощью палки  
Он через гусиный базар ковылял—  
Согбенный, дряхленький, жалкий.

Мы руки пожали друг другу, старик  
Слезу уронил. Ни оттенка  
Вражды. Как он рад, как искренне рад!  
Умилительнейшая сценка!..

Не всех застал я. Многих тут  
Успела смерть отметить.  
Ах, мой Гумпелино! Мне даже его  
Теперь уже не встретить.

Недавно свой благородный дух  
Он испустил невозвратно,  
Чтоб у престола Иеговы парить  
В качестве серафима.

Адбнуса кривого я  
Искал напрасно повсюду—  
(Он продавал в равнос фаянс—  
Чашки, ночную посуду.)

Мой крошка Мейер... Жив ли он?  
Не поручусь за это;  
Увы, о нем я позабыл  
Справиться у Корнета.

Саррас, тот преданный пудель, сдох!  
Ударить готов по рукам бы,  
Что сотню писателей потерять—  
Куда было б легче для Кампе...

Население Гамбурга с древних времен,  
Как знают все старожилы,—  
Состоит из евреев и христиан.  
И те и другие—жилы

Плохого не скажешь про христиан,  
Про их обеды—подавно;  
По вексям они платят вперед—  
За час до срока, исправно.

Евреи опять-таки разделены  
На партии; две их; в программе  
У старых—в синагогу ходить,  
У новых—молиться в «храме».

Свинину новые едят, —  
Они в протестантстве круты,  
Но демократы. А старые... о!  
Они—*аристокруты*.

И старых люблю я и новых люблю,—  
Нет меры господним щедротам!  
Но рыбку одну я люблю сильнее,—  
Зовется копченым шпротом.



### ГЛАВА XXIII

Как республика, Гамбург—Венеции  
И Флоренции—лучше едва ли.  
Но устрицы там замечательны!—Их  
Едят у Лоренца в подвале.

Был чудный вечер. Я туда  
Направился с Кампе вместе—  
Хлебнуть рейнвейну, поглотать  
Устриц в том злачном месте.

Компанию славную там я застал,  
Друзей увидел опять я,  
Товарищей старых: был там Шофпье  
И новые собратья.

Был Вилле, с лицом, как альбом, куда  
Достаточно четко, хоть густо,  
Академические враги  
Свои вписали чувства.

Был ярый там язычник Фукс,  
Как личный враг Иеговы,  
Лишь в Гегеля верил он, да еще,  
Пожалуй, в Венеру Кановы.

Мой Кампе, как Амфитрион,  
Сиял так умиленно,  
В глазах—блаженство, словом, весь—  
Просветленная мадонна.

С большим аппетитом я ел и пил  
И думал при этом, кстати:  
Воистину, Кампе—великий муж,  
Издателям всем—издатель.

Другой издатель голодать  
Меня бы мог заставить.  
А этот—и выпить мне даже дает:  
Могу ли его оставить?

Славься, создатель, на небесах,  
Сей сок в лове создавший,  
И Юлиуса Кампе мне  
В издатели ниспославший.

Славься, создатель, на небесах,  
Беликий и всемогущий,  
Создавший устриц на дне морском,  
А рейнвейн на земле цветущей.

О, ты, кто и лимон взростил,  
Что так для устриц нужен,  
Мне помоги переварить,  
Мой отче, этот ужин!..

Рейнвейн всегда смягчает мой нрав  
И сердце на умиленность  
Настраивает, зажигая в нем  
К человеколюбию склонность.

Из дома на улицы гонит меня,  
Брожу, упоен рейнвейном,  
Душа себе пару ищет в любом  
Платьице бело-кисейном.

В такие моменты я таю почти  
От страсти и грусти блаженной.  
Что кошка—серой кажется мне,  
Что женщина—Еленой.

И лишь на Дребан я пришел,  
Вся в лунной стоит позолоте  
Высокая, корпулентная,  
Чудовищногрудая тетя!

Округло лицо, как крутое яйцо,  
Глаза—бирюзы чище,  
А щеки—как розы, как вишни—рот,  
И красноват носище.

Какой-то бумажный, белый чепец  
На ней был надет, полосатый,  
Весь в башенках, в острых фестончиках весь,  
Как гребень стены зубчатой.

Спадала белая туника  
К икрам ее оголенным.  
А икры! Не уступили бы  
Дорическим двум колоннам.

Печать заурядности мирской  
Была на ее фасаде,  
Но высшее нечто я прозрел  
В сверхчеловеческом заде.

«С приездом на Эльбу!—мне она  
Сказала.—Лет тринадцать  
Ты, кажется, в отлучке был,  
А не изменился, признаться!

«Ты, может быть, ищешь прекрасных душ,  
В чьем милом круге, тесном  
Ты ночи напролет мечтал  
На этом месте чудесном.

«Стоглавая гидра, чудовище-жизнь  
Сожрала несчастных пленниц.  
Ты прошлого тут не найдешь,  
Как и тех своих современниц.

«Нет милых цветочков, которые так  
Обожал ты в дни юной дури!  
Цвели они тут, но увяли все,  
Растрепали их злые бури.

«Иссушены, сорваны, втоптаны в грязь  
Судьбой жестокой, грубой.  
Мой друг, таков земной удел  
Всего, что прекрасно и любо!»

«Но кто ты?—я крикнул.—По старым снам  
Ты, будто, мне знакома.  
Монументальная! Где живешь?  
Проводить ли тебя до дома?»

Тут улыбнулась мне она:  
«Ошибся ты, слишком тонка я  
И нравственна очень. Я—честная  
Особа, а не т а к а я.

«Я не лореточка, не мамзель,  
Искательница интереса.  
Запомни: богиня Гаммония,  
Гамбурга я патронесса!

«Смущен ты, напуган, мой храбрый певец?—  
Она сказала с усмешкой.—  
Ну, если не раздумал, так—  
Пойдем, но только не мешкай!»

И я воскликнул, хохоча:  
«Я весь к твоим услугам.  
Шагай вперед, а я—готов,  
Хоть в ад за новым другом!»



## ГЛАВА XXIV

Как очутился я наверху  
Той узкой лестнички,—тайна!  
Не духи ль невидимки меня  
Взнесли туда случайно?

Там, в комнатушке Гаммонии,  
Стремительно время мчалось.  
Богиня в своей симпатии  
Давнишней мне призналась.

«Видишь ли, в прежние времена  
Всего дороже в мире  
Мне был певец, что Мессию воспел  
На благочестивой лире.

«Там, на комодe еще стоит  
Бюст моего Клопштока,  
Но служит болванкой он мне для чепца,—  
Так это все далеко!

«Ты—мой любимец ныне. Твой  
Портрет у меня над постелью,  
Я лавром зеленым рамку его  
Украшаю раз в неделю.

«Но то, что часто сынов моих  
Дразнил ты,—скажу открыто,—  
Не раз коробило меня,  
Но будет впредь забыто.

«Надеюсь, время и тебя  
От озорства исцелило,  
И большей терпимостью даже к глупцам  
Тебя теперь наделило.

«Но как тебе в голову взбрело  
Пуститься на север куда-то  
Об эту пору? Погодка, ведь,—  
Уже холодновата!

«Богиня!—ответил я,—в недрах души  
(Устроил так создатель)  
Дремлют идеи, которые вдруг  
Пробуждаются—кстати ль, не кстати ль.

«Внешне жилось мне вполне хорошо,  
Но внутренне—чах от тоски я.  
Подавленность эта росла по дням,—  
Открылась во мне ностальгия.

«Французский, легкий некогда дух  
Душить меня уж начал.  
Я знал,—лишь в Германии я отдышусь,  
Совсем задохнулся б иначе.

«По запаху торфа я скучал,  
По дыму сигары немецкой,  
И ноги, родной предвкушая прах,  
Дрыгали в радости детской.

«Вздыхал по ночам, мечтал, вспоминал  
«Плотинные ворота»,—  
Старушка милая там живет,  
А неподалеку—Лотта.

«И о почтенном старике,  
Что, вечно меня ругая,  
Так великодушно меня защищал,—  
И о нем вспоминал, вздыхая.

«Хотел бы я снова услышать его  
«Мальчишку», «грубияна»,  
Что музыкой в душе моей  
Звучало постоянно.

«И синий дым меня привлекал,  
Над немецкой трубой встающий,  
И нижнесаксонские соловьи,  
И буков тихие кущи.

«Я даже к тем стремился местам  
Мечтал о той Голгофе снова,  
Где юности влачил я крест  
И свой венец терновый.

«Хотел я снова плакать там,  
Где пролил горячие слезы.  
Любовью к отечеству, что ли, зовут  
Все эти глупые грезы?

«Я не охотно о том говорю:  
Недуг не из очень приличных.  
Стыдлив по природе, я раны свои  
Скрываю от взоров публичных.

«Терпеть ту сволочь не могу,  
Которая в жажде подачки,  
Свой патриотизм несет напоказ  
И все его болячки.

«Бесстыжие попрошайки! Они  
Клянчат на грош хотя б им  
Подать популярности—Менцелю  
И всем его присным швабам.

«Моя богиня! Сегодня меня  
Застала ты в миноре:  
Я несколько болен, но подлечусь  
И вполне оправлюсь вскоре.

«Да, нездоров я, но ты бы сейчас  
Могла помочь больному  
Хорошей чашкой чая, в него  
Подлив немного рому».



## ГЛАВА XXV

Богиня мне сварила чай,  
Ромком его заправив,  
Сама же этот ром пила  
И каплей не разбавив.

И головой склоняясь ко мне,  
(Чепцу, зубчатой кроне  
Фасон немного измяв), она  
В нежнейшем молвила тоне:

«Как ты один, без призора живешь—  
Не раз я думала в страхе—  
В распутном Париже, с французами,  
Которые все—вертопрахи?

«Таскаешься, и нет с тобой  
В стеснительные моменты  
Издателя-немца, кто б опекал  
Тебя, как преданный ментор.

«А искушенья там, хоть отбавляй!  
Сильфид нездоровых, по слухам,  
Там множество. Немудрено  
Свихнуться слабому духом.

«Не уезжай, останься здесь:  
Порядок тут и благонравье  
Царят. Цветами же скромных забав  
И здесь наслаждаться ты вправе.

«Останься в Германии. Здесь ты теперь  
Отрадного больше встретишь:  
Мы прогрессируем, ты сам  
Прогресс легко заметишь.

«Цензура уж не так строга:  
Гофман—кротче под старость;  
«Путевым картинам» твоим не грозит  
Его молодая ярость.

«Ты сам с годами степенней стал,  
Кой в чем покладистой станешь,  
Да и на прошлое теперь  
Ты радужнее взглянешь.

«А что так ужасно прежде жилось  
В Германии,—тоже натяжка:  
Как в Риме, самоубийством спастись  
Мог каждый от каторги тяжкой.

«Свободу мнений народ имел,  
И в массах она обращалась.  
Гоненья терпело лишь меньшинство,  
Которое с печатью общалось.

«Произвол беззаконья у нас не царил:  
С демагога и даже вора  
Никто кокарды не снимал  
Без судебного приговора.

«Так плохо не жилось у нас  
При самых лютых штурмах.  
Поверь, голодной смертью никто  
Не умер в немецких тюрьмах.

«В прошлом процветали у нас  
Прекраснейшие явления  
Веры и благодушья. Теперь—  
Одни отрицанья, сомненья.

«Свободой практической, внешней,—боюсь,  
Идеал бы не сгноили,  
Который мы носили в сердцах  
Чистым, как грезы лилий.

«Уже угасает волшебный огонь  
Поэзии нашей германской,  
И среди других королей почил  
Фрейлигратов король негритянский.

«Да, вдосталь потомок поест и попьет,  
Но не в тишине созерцанья.  
Галдеж балаганный врывается, и—  
Идиллия, до свиданья!

«Умей ты молчать, я б открыла тебе,  
Что вещает книга судеб нам;  
Грядущее показала б тебе  
Я в зеркале волшебном.

«Все то, что от смертных я таю,  
Тебе я открыть могла бы,—  
Грядущее твоей страны...  
Но—ах! Язык твой слабый»...

«Бог мой, богиня!—воскликнул я,—  
Яви такое чудо!  
Германскую будущность дай посмотреть,—  
Мужчина я, нем я буду!

«Любой присягой присягну,  
Любой суровой клятвой.  
Ну, говори, чем клясться мне?  
Запрет мне будет свят твой!»

И так отвечала богиня: «Клянись  
Мне той же клятвой строгой,  
Какой Аврааму Елеазар  
Поклялся перед дорогой.

«Подними мой хитон, возложи мне, как он,  
Руки твои на чресла,  
И поклянись навек молчать  
Печатно и словесно».

Торжественный момент! Меня  
Века чередой несметной  
Окружили, когда я присягал  
Той клятвой ветхозаветной.

Я поднял подол богинин, и ей  
Наложил я руки на чресла  
И присягнул обо всем молчать  
Печатно и словесно.



## ГЛАВА XXVI

Лицо у богини пылало, как жар  
(Прилил к зубчатой кроне,  
Как видно, ром), и сказала она  
В весьма сокрушенном тоне:

«Увы, я старею! Пришлось как-никак  
Мне с Гамбургом вместе родиться.  
Тут, в эльбинском устье мать моя  
Была тресковой царицей.

«Karolus Magnus был мой отец,—  
Величайший монарх. Что проще?—  
Великого Фридриха Прусского он  
Превзошел по уму и мощи.

«В Аахене—трон, на котором он  
Восседал при коронаваньи.  
Ночной же трон мамаше моей  
Отписал он в своем завещаньи.

«Мамаша оставила мне его.  
Хоть рухлядь-меблишко, но даже  
Сам Ротшильд, за все капиталы свои,  
Не добьется его продажи.

«Видишь, вон там в углу стоит  
Старинное кресло. От кожи  
На спинке—одни лохмотья, а моль  
Подушку изъела тоже.

«Но если приподнимешь ты  
Подушку ту и если  
Заглянешь в круглую дыру,—  
Котел увидишь в кресле.

«Волшебный это котел. Кипит  
В нем сил магических каша.  
Ткнись только в эту дыру головой.—  
Увидишь грядущее наше.

Германскую будущность ты узришь  
Сквозь хаос фантазмагорий,  
Но не робей, когда из котла  
Пойдут миазмы вскоре!»

И рассмеялась так чудно.  
А я на все ужасы плюнул  
И в эту страшную дыру  
Любопытную голову сунул.

Что видел я,—молчок о том.  
Ведь я присягал. Но все же  
В двух-трех словах могу сказать,  
Чего я нанюхался... Боже!

Меня и сейчас начинает мутить  
Лишь я память свою окуну в те  
Прелюдии запахов мерзких, в ту смесь  
Тухлой капусты и юфти!

А вонь, что вслед за тем пошла...  
Нет запахов с этим схожих:  
Казалось, чистят тридцать шесть  
Отечественных отхожих!..

Та шваль, что давно разложилась, теперь  
Вонявшая лишь историзмом,  
Распространяла последний свой яд—  
Дохлатины с паразитизмом.

Но даже тот призрак, тот дух святой,  
Та падаль, что тут воскресала,  
Которая в жизни народную кровь  
И кровь страны сосала,

Еще раз пыталась весь мир зачумить,  
Тлетворно дыша из гроба.  
Как страшно кишела червями ее  
Прогнившая утроба!

И что ни червь—то новый вампир.  
И вновь, как тогда, смердело,  
Когда пронзал возмездья кол  
Его поганое тело.

То—запах повешенной сволочи был:  
Кровь, табачище, сивуха.  
Кто в жизни смердел,—какого же он  
Напустит по смерти духа!

И пуделем, таксой и молсом несло,  
Которые жадно лизали  
Плевки власть имущих, и пред алтарем  
И тронем на брюхе лежали.

То был ядовитый, гнилостный смрад,  
Как на живодерне,—тяжелый.  
Вонял там весь собачий цех  
С его исторической школой!..

Я помню, что сказал Сен-Жюст  
В Комигете Спасенья: «Не пичкай  
Тяжко больного ни мускусом,  
Ни розовой водичкой».

Но будущности германской дух  
Превысил все, что прежде  
Себе представить мог мой нос...  
Не вытерпел я—хоть режьте!..

Я чувств лишился. Когда же пришел  
В себя, то сидел я под боком  
Богини, причем головой возлежал  
На бюсте ее широком.

Сверкал ее взгляд, пылал ее рот,  
И ноздри дрожали, и, с криком  
Поэта обняв, как вакханка, она  
Запела в экстазе диком:

«Есть в Фуле король, и есть у него  
Кубок,—не чает души в нем.  
Когда король из кубка пьет,  
Он плачет—слезы ливнем.

«Идет полнейший кавардак  
В его мозгу перегретом.  
Он входит в раж и—цап тебя!  
Своим шальным декретом.

«Не суйся на север,—есть в Фуле король,  
И нрав у него—тяжелый.  
Берегись полицейских, жандармов его  
И всей исторической школы.

«Останься со мной... Я люблю тебя...  
Не будет здесь недостат нам  
В современных устрицах и в вине,  
И забудем о будущем мрачном.

«Крышку на дырку! Чтоб вонь из котла  
Не гасила любовного пыла.  
Ни одна еще немка поэтов родных—  
Как тебя я люблю—не любила.

«Целую тебя и чувствую, как  
В меня проник твой гений.  
Душа моя несказанно-пьяна  
Волшебством этих мгновений.

«Как будто на улице, ночью, поют  
Сторожа, и гремит колотушка.  
То гимнеевы гимны звучат,  
Дружок мой милый, душка!

«Въезжает с факелами затем  
Конная челядь, гарцуя,  
Степенно, чинно на лошадях  
Факельный танец танцуя.

«Проходит высокопремудрый сенат,  
За ним—совет старейшин.  
Бургомистр откашлялся,—блеснуть  
Он хочет словцом острейшим.

«Сияя мундирами, шествует вслед  
Весь корпус дипломатов.  
Так вылощен их поздравлений стиль,  
А смысл—темен и матов!

«И духовенство встречает нас—  
Раввины и пасторы купно.  
Ах, Гофман с ножницами тут,  
Наш цензор неподкупный!

И варвар ножницами—звяк!  
И кровожадным жестом  
Как ткнет ими в плоть твою, в мясо!—Простись  
С таким прекрасным местом!»



## ГЛАВА XXVII

А после что произошло  
В ту ночь чудес, то к сплетням  
О том еще вернемся мы  
Деньком погожим, летним.

Вся старая порода ханжей,—  
Всевышнему слава!—сама, ведь,  
Нисходит в гроб, вымирает от лжи,—  
Ничем их не поправить.

Вот новое племя уже растет,  
Чуждое фальши, порокам.  
Их разум свободен, свободен дух,—  
Я счастлив быть их пророком!

Молодежь расцветает. Поэт в ней найдет  
Ценителя, единоверца.  
И греться будет она у его  
Солнцеподобного сердца.

А сердцем я, как пламя, чист  
И любвеобильнее света.  
И самыми чуткими грациями  
Настроена лира эта.

На струнах этой лиры бряцал  
С искусством вдохновенным  
Покойный отец мой—Аристофан,  
Наперсник всем Каменам.

На этой лире когда-то он  
Пел славу Пайстетеру,  
Что с Базилеей своей воспарил  
В межоблачную сферу.

В последней главе я слегка подражал  
(Скажу об этом прямо)  
Концу его «Птиц». Ведь это—его  
Самая лучшая драма.

«Лягушки» тоже удачная вещь.  
И на берлинской сцене  
Они в переводе идут. Говорят,  
Король их очень ценит.

Король-то пьесу любит,—слывет  
Антикваром он, как-никак уж.  
Отец же его приходил в восторг  
От современных квакуш.

Король-то пьесу любит. Но...  
Будь автор жив, то, мне хоть  
И лестно было б, я лично ему б  
Не советовал в Пруссию ехать.

Да, подлинный Аристофан у нас  
Хлебнул бы, бедняга, горя:  
Жандармские хоры его  
Сопровождали бы вскорее.

Науськали б чернь сейчас: «Не виляй,  
А сразу лай по-пруски»;  
Полиции бы велели—схватить,  
Сгноить его в кутузке!

Король! Ничего не имею к тебе,  
Но предложу такое:  
Мертвых поэтов, пожалуй, чтить,  
Живых—оставь в покое.

Живых поэтов не обижай:  
У них—пламена и стрелы,  
Страшной зевесовых, а, ведь, и те  
Ковал поэт престарелый!

Хули себе древних и новых богов.  
Мала ль олимпийская шайка?  
Измывайся над Иеговой самим,—  
Поэтов лишь не обижай-ка!

Крутенько боги за каждый грех  
Карают сынов человеческих:  
Пекут нас и жарят на адском огне,  
А, ведь, горяча-то печь их!

Спасибо, святые из пекла порой  
Спасают грешников: грошик—  
На храм, на помин души, и нашел  
Адвокатов на небе хороших.

А наступит последний день, сам Христос  
Взломает врата преисподней,  
И хоть страшный он суд учинит,—кой-кто  
Улизнет от десницы господней.

Но есть геены,—попались—конец!  
Просите, не просите ль —  
Спасенья нет. Ни молитва, ни пост  
Не помогут, ни сам спаситель.

Иль Дантова «Ада» не знаешь ты,  
Его терцин суровых?  
Кого поэт заточил туда,  
Тому не уйти от костров их.

Ни богу, ни сыну его не унять  
Певучее это пламя!  
Смотри, как бы мы тебя в этот ад  
Не сослали с твоими делами!



## **ПРИМЕЧАНИЯ**



## Прощание с Парижем

59.\* *Единственный врач тут может помочь...*—сама Германия, родина поэта.

60. *К ночным сторожам...* «Ночной сторож»—поэт Дингельштедт, выпустивший в 1840 г. сборник стихотворений «Песни космополитического ночного сторожа». Был одним из левых политических лириков сороковых годов, принадлежал к «Молодой Германии», но затем поправел, стал ренегатом. В 1843 г. получил звание гофрата и был назначен королевским библиотекарем в Берлине. Особенно зло расправляется с ним Гейне в стихотворениях: «Экс-ночной сторож», «На прибытие ночного сторожа в Париж», «Ночному сторожу».

— *Гофрат*—надворный советник, для Гейне—олицетворение прусской бюрократии.

---

\* Цифры в начале примечаний обозначают соответствующие страницы книги.

— *В степи... к люнебургским овцам влечет...*— Люнебургская степь в прусском округе Люнебург (пров. Ганновер); некогда—район овцеводства.

60. Маршрут путешествия Гейне, описанный в поэме: Париж—Аахен—Кёльн—Мюльгейм—Унна—Тевтобургский лес—Падерборн—Минден—Бюкебург — Ганновер — Гамбург не соответствует действительному маршруту Гейне: Париж — Брюссель — Амстердам — Бремен — Гамбург. Несоответствие это объясняется творческими, композиционными соображениями поэта.

## Глава I

64. *Miserere* (лат.)—господи помилуй.

65. *Коснулся матери титан...*—Мифологический гигант Антей, касаясь матери-земли, приобретал непреодолимую физическую силу.

## Глава II

67. *Там кружева—не малинским чета и даже брюссельских лучше...*—Бельгийские города Малин (фламандское название—Мехельн) и Брюссель славятся своими кружевами. В немецком подлиннике непереводаемая игра словом *Spitzen*, означающим и кружева и острия—намек на колкость крамольных мыслей поэта.

— *Гофман фон Фаллерслебен* (1798—1874) — профессор и политический поэт 40-х годов. За свои «Песни без политики», выражавшие стремление либеральной буржуазии к хозяйственному и политическому объединению Германии, был лишен профессуры и выслан из Берлина. Одно время назывался «немецким Беранже». После 1848 года стал праветь и в конце концов вполне примирился с прусской реакцией.

— *Союз таможен единый...*— В 1834 г. был учрежден германский таможенный союз. Этот союз освобождал страну от многочисленных таможенных рогаток между отдельными германскими государствами. С образованием таможенного союза начинается постройка железных дорог, и наблюдается оживление в торговле и промышленности. Но так как союз этот возглавлялся феодально-монархической Пруссией, то Гейне и к этому мероприятию относился оппозиционно.

### Глава III

69. *Аахен*—город Пруссии, центр Рейнской области, бывшая столица Карла Великого (742—814)—германского императора, создателя громадной Римской империи (см. примечание к главе XVII).

— *Karolus Magnus* (лат.)—Карл Великий.  
*Карл Мейер* (1786—1870)—поэт реакционной

швабской поэтической школы, над которой Гейне постоянно издевался в своих стихах. Тут—игра слов: *magnum* (лат.)—большой, *major*—больший.

69. *Штуккерт*—швабское наименование города Штутгарта.

70. *Кернер*, Карл-Теодор (1791—1813)—автор патриотических, антифранцузских песен в эпоху так называемых «освободительных» войн против Наполеона.

— *Фухтель*—шомпол, служивший также для телесного наказания солдат.

— *И вечно будет в дружеском «ты» слышаться «он» исконный...*—В разговоре с низшими немцы употребляли вместо второго лица—третье.

71. *Особенно—эта каска...*—Каска была введена в прусской армии в 1840 г. королем Фридрихом-Вильгельмом IV (1795—1851).

— *Графиня фон Монфокон*—героиня романтической драмы Августа-Фридриха Коцебу (1761—1819)—«Иоганна фон Монфокон».

— *Фуке*, Фридрих (1777—1843), *Уланд*, Иоганн-Людвиг (1787—1819), *Тик*, Людвиг (1773—1853)—немецкие поэты-романтики. Рифма: «романтик—Фуке, Уланд, Тик» принадлежит самому Гейне и оставлена в переводе без изменений, как один из показателей новаторских приемов Гейне.

— *Не без «pointe»...*—Игра на французском слове, означающем, с одной стороны, острие,

шпильку, а с другой—острое, колкое словцо. Это—выпад против короля Фридриха-Вильгельма IV, слывшего в определенных кругах большим остроумцем. В действительности, это был ограниченный и путаный диллетант, зло и исчерпывающе осмеянный Ф. Энгельсом в «Революции и контр-революции в Германии». Еще более беспощадно издевается над ним Гейне в «Германии» и в других произведениях, особенно в стихотворениях: «Новый Александр» и «Китайский богдыхан». (см. вступительную статью Г. Лукача, стр. 14). В этих двух сатирах Фридрих-Вильгельм представлен жалким, маниакальным пьянчужкой, ничтожеством, воображающим себя гением, благодетелем отечества, вторым Александром Македонским, но тут же признающимся, что он—«не рыба и не мясо», «гермафродит», «просвещенный обскурант», которому одинаково дороги «и кнут и Софокл».

*72. Я вновь увидел птицу преневаистную...—*  
Орел—государственная эмблема Пруссии.

*— И рейнских стрелков я приглашу стрельбой развлечься мишенной...—* Рейнская область находилась одно время под политическим протекторатом Франции, и на ней во многом сказалось влияние Великой французской революции. И политически и экономически Рейнская область намного опередила остальную феодально-цеховую Германию. Поэтому после ее обратного

присоединения к Пруссии (1815 г.) ее население относилось к последней особенно враждебно (см. предисловие к «Германии» самого Гейне).

#### Глава IV

73. *Кёльн*—старинный немецкий город, возник в I веке до н. э., как римский укрепленный лагерь. Достиг большого расцвета, благодаря выгодному положению на рейнском торговом пути. Однако в XVI веке, в связи с открытием океанических торговых путей, приходит в упадок, и лишь в XIX веке начинается новый экономический подъем Кёльна.

74. *Ульрих фон Гуттен* (1488—1523)—вождь гуманизма эпохи Возрождения, один из авторов «Писем темных людей»—резкой сатиры на монашество того времени, примкнувший к реформе Лютера:

— *Менцель*, Вольфганг (1798—1873)—крайне реакционный критик, опозоривший себя гнусными доносами на левую литературную школу «Молодая Германия», в частности—на примыкавшего к ней Гейне.

— *Гохстратен*—один из «темных людей», кёльнский священник, современник Лютера, яростный противник реформации.

— *Кирие Элейсон* (греч.)—господи помилуй.

75. *Лютер, Мартин* (1483—1546)—вождь реформации, религиозного движения начала XVI века против папы и католического духовенства, следствием которого было образование лютеранской церкви.

— *Собор не достроен...*—Кёльнский католический собор начал строиться в 1284 г. Однако, в XVI веке, вследствие победы лютеранства, постройка была приостановлена и в течение столетий мысль о соборе была заброшена. В 1842 г., по инициативе прусского короля Фридриха-Вильгельма IV, был создан «Союз по постройке собора». Постройка эта была закончена лишь в 1880 г.

76. *Франц Лист* (1811—1886)—венгерский композитор и пианист. В начале 30-х годов Лист увлекался туманными идеями радикальной буржуазной интеллигенции. Это ему не помешало в сентябре 1842 г. дать концерт в пользу Кёльнского собора, в достройке которого передовые общественные элементы справедливо усматривали одно из явлений утверждающейся реакции. После революции 1848 года Лист открыто превратился в покорного сына католической церкви.

— *Талантливый декламатор-король*—Людвиг I Баварский (1825—1848). Комплимент следует понимать в ироническом смысле.

— *Камней... целый корабль...*—Штутгартское отделение «Союза по постройке собора» прислало судно со строительным камнем в Кёльн.

76. *С тремя царями святыми...*—Так называемые «три восточных волхва», пришедшие, по евангельскому рассказу, поклониться младенцу Христу.

77. *Три клетки железные...*—В старинном вестфальском городе Мюнстере, в 1534 г. приверженцы религиозной секты анабаптистов при поддержке городской бедноты захватили власть и основали сектантско-коммунистическое государство «Новый Иерусалим». Вождем анабаптистов был лейденский портной Иоанн Бокельзон. Мюнстер был осажден войсками местного епископа и князей. Просуществовав около полутора лет, коммуна, после героического сопротивления, пала. Участники ее были почти поголовно вырезаны, а вожди: Иоанн Лейденский и его наместники Книппердоллинг и Крехтинг после ужасных пыток были казнены. Их трупы были выставлены в железных клетках на башне церкви святого Ламберта. На это событие намекает Гейне в последних строфах IV главы. Здесь дается несколько сокращенный самим Гейне текст этой главы. В первоначальной рукописи глава кончалась следующими пятью строфами:

Там был король портных и два  
Советника ближайших.

А мы в эти клетки посадим теперь  
Других особ высочайших.

Пусть царь Балтазар одесную висит,  
А царь Мельхиор—ошую,  
Меж ними—Гаспар. Как там в жизни у них  
Водилось,—тут я пасую.

Канонизированный теперь  
Восточный союз,—когда-то  
Себя, быть может, вел не так  
Порядочно что ли и свято.

Сей Балтазар и сей Мельхиор  
Трусиски были, возможно,  
Что конституцию подданным дать  
Поклялись в день тревожный,

Но слова потом не сдержали. Гаспар,  
Негритянский владыка, черной  
Неблагодарностью даже платил  
Своим глупцам, бесспорно.

77. *Триумвират* (лат.)—совместное управление государством тремя лицами. В переносном смысле—всякий союз из трех человек.

## Глава V

79. *Под Бибрихом я наглотался камней...*—  
Между Нассау и рейнским Гессеном происходили трения из-за пользования речными путями

сообщения. Гессенское правительство затопило в ночь под 28 февраля 1841 года под Бибрихом (Бибрихом) сто три баржи, груженные камнями, для того чтобы воспрепятствовать проходу по Рейну судам у берегов Нассау. Тяжба была разрешена союзным сеймом, и гессенцам пришлось вылавливать затопленные камни.

79. *Никлас Беккер*—автор патриотической песни «Нет, вашим он [Рейн] не станет». Песня сочинена в 1840 году под влиянием алармистских слухов, что французы готовят поход на Германию, с целью сделать Рейн границей между Францией и Германией.

80. *Заперсифляжат...*—*Persiflage* (франц.)—зубоскальство. *Бламажит...*—*Blamage* (франц.)—хула, сплетня. Гейне широко пользовался немецкими французскими словечками. В данном же случае Гейне этим как бы подчеркивает особенное влияние Франции на Рейнскую область (см. примеч. к главе III). Поэтому слова эти сохранены в переводе в аналогичной русской форме.

— *Альфред де Мюссе* (1810—1857)—французский поэт, ответивший Беккеру стихотворением, которое начиналось так: «Он нашим был, ваш немецкий Рейн»...—*Гамен* (франц.)—уличный мальчишка, озорник.

81. *Кант*, Эммануил (1724—1804), *Фихте*, Иоганн-Готтлиб (1762—1814), *Гегель*, Георг-Виль-

гельм-Фридрих (1770—1831)—немецкие философы-идеалисты.

81. *Генгстенбергианцы* — последователи Эрнеста-Вильгельма Генгстенберга (1802 — 1869), профессора богословия, яркого протестанта и реакционера, подобно Менцелю, подло травившего «Молодую Германию».

— *У дамочек с ним...*—намеки на любовные похождения Альфреда де Мюссе, в первую очередь—на его роман с Жорж-Занд.

## Глава VI

83. *Паганини*, Николо (1782—1840)—итальянский скрипач-виртуоз.

— *Spiritus familiaris* (лат.)—домашний дух, нечто вроде доброго домового.

— *Георг Гаррис* (1780—1838)—издатель и поэт, долгое время занимавшийся организацией концертов Паганини. Описан Гейне во «Флорентинских ночах».

— *Был некто красный ведом...*—Биографы Наполеона рассказывали, будто Наполеону являлся перед каждым важным событием его жизни «человек в красном».

— *Сократ* (469—399 до н. э.)—греческий философ, занимался поисками достоверного знания и исследованием проблемы нравственности. Он был чужд традиционным греческим верова-

ниям и утверждал, что у него есть свой «дау-моннион» (демонический голос), останавливающий его при некоторых действиях. Этот демон был, собственно говоря, ссылкой на несоответствие какого-нибудь поступка нравственным требованиям или голосу здравого смысла, причем это несоответствие еще только чувствовалось, но не было логически продумано.

86. *Ликтор*—почетная охрана высших римских должностных лиц. Ликторы шли впереди и, держа в руках пучок розог и секиру, расчищали путь. Они же были исполнителями уголовных приговоров.

— *Консул*—титул двух выборных лиц римской республики, в руках которых сосредоточивалась высшая военная и гражданская власть.

## Глава VII

89. *Кровью своей на дверных косяках что-то чертил попутно...*—В средние века в Германии существовало тайное народное судилище, так называемый «Суд Фемы». Когда на дверях какого-либо дома появлялся красный знак, это означало, что хозяин дома отмечен Фемой. Кровяные знаки, расставляемые Гейне,—символ социальной мести, ждущей реакционную Германию.

## Глава VIII

94. *Атлантовых яблок краше...*—Греческий миф рассказывает, что одна из Гесперид (дочерей титана Атланта), носившая имя Аталанты, была страстная охотница, столь быстрая в беге, что ее никто не мог догнать. Она обещала отдать свою руку тому, кто ее победит в беге. Один из искателей, Гиппомен, наученный богиней любви Афродитой, бросил Аталанте под ноги три золотых яблока из Гесперидовых садов. Аталанта, поднимая их, задержалась и этим дала возможность Гиппомену выйти победителем.

— *Мюльгейм*—город в Рейнской области.

— *От рыцарей облезлых...*—т. е. пруссаков.

— *Бело-сине-красный штандарт*—трехцветное знамя Великой французской революции, введенное также и в Рейнской области в период французского протектората.

— *С покойником Бонапартом...*—Одно время Гейне преклонялся перед Наполеоном, которого он считал носителем демократических идей Великой французской революции.

95. *Успел император из гроба восстать...*—намеки на так называемые «Сто дней»—период вторичного правления Наполеона во Франции в 1815 г., после бегства его с острова Эльбы. Разбитый европейскими державами в сражении под Ватерлоо, Наполеон был вынужден вторично

отречься от престола и был вновь сослан англичанами на остров св. Елены, где и умер 5 мая 1821 г.

— *Я сам его похороны видал...*—прах Наполеона был доставлен в Париж в октябре 1840 г. Это событие вызвало во Франции бурю политических столкновений.

96. *Vive l'Empereur!* (франц.)—Да здравствует император!

## Глава X

100. *Унна*—город в Вестфалии.

101. *Геттинген*—германский город, известный своим университетом. Гейне пробыл в этом университете с осени 1820 по весну 1821 г. Во время своего вторичного пребывания в Геттингене (1824—1825 г.) Гейне числился членом студенческого кружка «Вестфалия».

— *Мензура* (лат.)—термин фехтовального искусства, означающий поединок на рапирах.

— *Кварты и терцы* (лат.)—фехтовальные приемы.

## Глава XI

103. *Тевтобургский лес...*—Здесь в 9 г. до н. э. древние германцы во главе с князем херусков (германское племя) Германом (Арминием) одер-

жали победу над римскими легионами, предводительствуемыми полководцем Варом.

103. *Тацит* (55—120 н. э.)—римский историк.

104. *Весталки*—жрицы богини Весты в Риме, дававшие обет девственности.

— *Квириды*—почетное название граждан древнего Рима.

— *Гаруспексы*—один из гаруспициев, римских жрецов, делавших предсказания по внутренностям животных.

— *Авгуры*—римские жрецы, предсказывавшие по полету птиц.

— *Генгстенберг*—см. примечание к стр. 81.

— *Неандер*, Иоганн-Август (1789—1850)—профессор теологии в Берлине.

— *Бирх-Пфейфер*, Шарлотта (1800—1868)—актриса и драматург, автор мещанских пьес, пользовавшихся одно время популярностью.

— *Матрона*—название римских аристократок.

— *Раувер*, Фридрих-Людвиг-Георг (1781—1873)—немецкий историк, посредственный ученый и весьма умеренный либерал.

— *Фрейлиграт*, Фердинанд (1810—1876)—немецкий поэт, представитель политической, революционной лирики 40-х годов. Начал свою поэтическую деятельность экзотическими стихами в духе романтизма, испещренными причудливыми рифмами, которые, по отзыву Гейне, «служили костылями для хромых мыслей».

104. *Гораций*, Флакк (65—8 до н. э.)—римский поэт, республиканец по взглядам.

— *Батя Ян*—Фридрих-Людвиг Ян (1778—1852)—немецкий педагог и публицист, популярный организатор националистических гимнастических обществ. Крайний реакционер и проповедник средневековых идеалов.

— *Ме Hercule* (лат.)—клянусь Геркулесом!—шутливая форма клятвы у римлян.

— *Масман*, Ганс-Фердинанд (1797—1874)—профессор, крайний шовинист, жестоко осмеянный Гейне в «Путевых картинах». В частности Гейне издевался над ним за плохое знание латыни. Именно в этой связи, Гейне называет его «Марк Туллий»—имя знаменитого римского оратора Цицерона.

105. *Не три бы дюжины*,—*один Нерон у нас был...*—Гейне имеет в виду тридцать шесть немецких монархов. *Нерон*—римский император (54—68), прославившийся своим самодурством и жестокостью и ставший символом тирана.

— *Себе мы сами вскрыли бы вены...*—Вскрытие вен было обычным способом самоубийства в древнем Риме, особенно распространенным в эпоху императорской тирании и служившим одним из видов протеста против последней.

— *Шеллинг*, Фридрих-Вильгельм (1775—1854)—немецкий философ-идеалист. Выступив сначала, как приверженец идей Великой фран-

цузской революции, он впоследствии от этих взглядов отказался, стал реакционером и правоверным католиком.

105. *Сенека* (3 г. до н. э.—65 г. н. э.)—римский философ, воспитатель императора Нерона и один из ближайших его фаворитов. Был обвинен в заговоре против Нерона, присужден к смерти и кончил жизнь самоубийством, вскрыв себе вены. Гейне намекает здесь на идейное ренегатство Шеллинга и на то, что порядочный римлянин на его месте испытил бы свою измену самоубийством.

— *Корнелиус*, Петер (1783—1867)—немецкий живописец, автор картин на исторические и религиозные темы, представитель реакционной живописной школы.

— *Cacatum non est pictum* (лат.)—пачкотня—не живопись.

— *Asinus* (лат.)—осел.

## Глава XII

108. *Да, это вой голодных волков...*—Волк Фенрис (герм. миф.), который должен сожрать владыку старого мира, бога Одина. В «Лютетии», в «Письмах из Франции» Гейне пользуется этим символом для обобщения социальных сил, борющихся против монархии Людовика-Филиппа. Здесь же волки—пробуждающийся к борьбе пролетариат,

который готовит беспощадную расправу старому миру.

108. *Позитура* (лат.)—определенное положение тела, поза.

109. *Кольб*, Густав—друг Гейне, издатель «Всеобщей газеты», часто сокращавший и исправлявший статьи Гейне по цензурным соображениям.

### Глава XIII

110. *Падерборн*—пруссский городок в Минденском округе.

111. *Сизифов камень*... Царь Сизиф (греч. миф.) был осужден богами вечно вкатывать на гору камень, который, достигнув вершины, скатывался вниз. Отсюда—выражение «сизифова работа», т. е. тяжелый и бесцельный труд.

— *Данаиды*—дочери царя Даная (греч. миф.), осужденные богами вечно наполнять водою бездонную бочку.

— *Мой родич*...—Христос, т. е. тоже еврей по происхождению.

### Глава XIV

114. *Суровая Фема*—средневековое германское судилище, тайно расправлявшееся с притеснителями народа (см. примеч. к стр. 89).

114. *Оттилия*—героиня народной песни, зарезанная неким убийцей. С нею в дальнейшем олицетворяется Германия, с убийцами, т. е. с политическими врагами которой Барбаросса должен поступить так же, как суд Фемы поступил с убийцей Оттилии.

115. *Ротбарт* (немецк.)—Красная борода—прозвище императора Фридриха Барбароссы (1123—1190). Излюбленная немецкими националистами и поднятая ими на ходули романтизма фигура Фридриха Барбароссы постепенно используется Гейне для разоблачения этой романтики и для удара по тевтоманским бредням. Начав, как говорится, за здравие, Гейне кончает за упокой. Сначала он делает вид, что и сам целиком находится под обаянием «героической» фигуры Барбароссы. Затем он постепенно снижает его, представляя его несколько чудаковатым, маниакальным старикашкой, обывателем. Наконец, поссорившись с Барбароссой, Гейне открыто уже высказывает свои антимоноархические взгляды и даже, как бы забывшись, с восторгом описывает террор Великой французской революции.

116. *Кифгейзер*—гора, в подземном замке которой, по народному преданию, спит со своим воинством Фридрих Барбаросса, пока не придет день, когда он снова вернется к власти и расправится со всеми врагами Германии.

## Глава XV

122. *Chi va piano, va sano*—итальянская поговорка, соответствующая нашей «Тише едешь—дальше будешь».

## Глава XVI

124. *Семилетняя война* (1756—1763)—ее вел прусский король Фридрих II в союзе с англичанами против Австрии, Франции, России, Швеции, Саксонии и Испании. Главными причинами этой войны были: во первых, стремление Австрии вернуть отнятую Фридрихом Барбароссой Силезию, а во вторых, англо-французское колониальное соперничество.

— *Каршиха*—Карш, Анна-Луиза (1722—1791), поэтесса-импровизаторша.

— *Мендельсон*, Моисей (1729—1786)—немецкий философ-идеалист эпохи просвещения. Маркс говорил о философии «мелкого буржуа», сидящей в крови германского бюргера, называя ее «сплошь ерундой, достойной Моисея Мендельсона» (Письмо Маркса к Энгельсу от 20 июля 1870 г.).

— *Луи* (Людовик) XV (1710—1774)—французский король.

— *Феликс* — Мендельсон-Бартольди (1809—1847), немецкий композитор, внук философа,

сын банкира Авраама Мендельсона. Наряду со светской музыкой много писал для церкви и был музыкальным руководителем берлинского собора и королевской капеллы. Вообще тщательно старался предать забвению свое еврейское происхождение и подчеркнуть свое «искреннейшее» христианство.

124. *Кленке*, Каролина-Луиза (1754—1812)—посредственная поэтесса и драматург.

— *Гельмина* (Вильгельмина) *Шези* (1783—1856), посредственная романтическая поэтесса.

— *Людовик XVI* (1754—1793)—внук Людовика XV, французский король, гильотинированный во время Великой французской революции.

125. *Антуанетта*—Мария-Антуанетта, жена Людовика XVI, казненная вместе с ним.

— *Гильотен* (1738—1814)—доктор, изобретатель гильотины.

## Глава XVII

129. *Карл Пятый*, Габсбург (1519—1556) — император Священной Римской империи и король испанский. Издавал в 1532 г. суровый уголовный кодекс.

130. *Священная Римская империя*, основанная Карлом Великим, королем франков (царствовал с 800 по 814 г.), была восстановлена в 962 г. императором Оттоном Первым и объе-

диняла ряд европейских стран: Германию, Австрию, Чехию, часть Италии, Франции и Швейцарии. Начиная с XIII—XIV вв. роль ее снижается, от нее отпадает одна территория за другой, она все больше теряет свой политический вес, а в 1806 г. ее окончательно ликвидирует Наполеон.

## Глава XVIII

131. *Минден*—город в Вестфалии; до 1873 г. считался крепостью второго ранга.

132. *Одиссей* (или Улисс)—герой «Одиссеи» Гомера.

— *Полифем*—одноглазый циклоп (великан), захвативший Одиссея в плен.

— «*Никто*» *зовусь я*—так назвал себя Одиссей циклопу Полифему.

— *Меч Дамокла*—меч, повешенный, по преданию, на конском волосе сиракузским царем Дионисием над головой его придворного Дамокла, чтобы на этом примере показать ему непрочность и опасность царской власти.

133. *Faubourg Poissonnière*—квартал в Париже.

— *К одной крутой скале я напрочно прикован...* — Эта и две последующие строфы увязываются поэтом с древним греческим мифом о Прометее, похитившем у бога Зевса огонь, которого люди еще не знали. За это Зевс приковал

Прометея к горе, и коршун клевал ему печень. Олицетворяя себя с Прометеем, Гейне имеет здесь в виду «свет», который он своим революционным творчеством несет немецкому народу.

134. *На бюкебургской почве...* Бюкебург—столица самого незначительного немецкого княжества Шаумбург-Липпе.

## Глава XIX

135. *Дантон, Жорж-Жак (1759—1794)*—один из крупнейших вождей Великой французской революции, представитель интересов крупнобуржуазной интеллигенции, казненный в дни террора.

— *Унести на подошвах отечество...* — Незадолго перед казнью Дантона друзья советовали ему бежать, но он отказался, сказав: «Отечество не унесешь с собой на подошвах сапог».

136. *Дедовский замок...* — Здесь Гейне иронизирует над своим заурядным еврейским происхождением.

— *Эрнст-Август (1771—1851)*—ганноверский монарх. До восшествия на ганноверский престол (1837 г.) был видным членом партии тори (консерваторов) в английской палате лордов. Прославился тем, что отнял у ганноверцев конституцию, завоеванную ими после Июльской революции 1830 г.

## Глава XXI

141. *Гамбург*—крупный портовый торговый центр у устья реки Эльбы. Здесь Гейне подолгу жила у своего дяди-банкира.

— *Полгорода сгорело ...*—Речь идет о гамбургском пожаре в мае 1842 г. Сгорело свыше четырех тысяч зданий; около двадцати тысяч человек осталось без крова.

— *Где дом, в котором когда то узнал я первый поцелуй, где я любил так свято...*—Гамбургский дом дяди поэта, Соломона Гейне, на Юнгфернштиге (см. примеч. к гл. XXIV).

142. *Дрекваль*—еврейский квартал в Гамбурге.

— *Павильон*—«Швейцарский павильон», модная в то время кондитерская в Гамбурге.

144. *Троя* (Илион)—город Малой Азии, к которому приурочено действие «Илиады», приписываемой Гомеру.

— *Та птица, что яйцо свое снесла в парик бургомистра...*—В некоторых местностях Германии эмблема Пруссии—орел—носит презрительную кличку «кукушки»,—птицы, кладущей яйца в чужие гнезда. В данном случае Гейне под яйцом, снесенным кукушкой-Пруссией в парик гамбургского бургомистра, имеет в виду приглашение гор. Гамбургу вступить в прусский таможенный союз, о котором упоминалось в гл. II (см. примеч.).

## Глава XXII

146. *Старуха Гудель*—богатая гамбургская дама, не раз подвергающаяся издевкам Гейне (глава IX «Луккских вод» и стихотворение «Спесь»).

— *Бумаготорговец*—Эдуард Михаэлис, пользовавшийся у жителей Гамбурга большим уважением.

— *Галле*—доктор, зять Соломона Гейне (дяди поэта), причинивший Гейне много неприятностей, интригуя против него в доме своего тестя. Вскоре после пожара стал душевнобольным. Не желая, повидимому, навлечь на себя гнев родственников, от которых Гейне часто зависел материально, он в своем тексте имя Галле зашифровывает под четыремя звездочками.

— *Бибер*—глава страхового общества, которое после описанного пожара обанкротилось, не будучи в состоянии удовлетворить претензий своих клиентов.

147. *Гумпелино*—банкир Лазарь Гумпель, мишень для насмешек Гейне в «Луккских водах». Умер как раз во время пребывания Гейне в Гамбурге.

147. *Крошка Мейер*—Генрих Мейер, литературный и театральный критик.

— *Корнет, Юлиус*—певец и директор гамбургского городского театра.

147. *Кампе*, Юлиус (ум. 1857)—крупный издатель. У него печатался Гейне и другие писатели «Молодой Германии».

— *Аристократы...* — Гейне в этом месте обыгрывает искажение слова *аристократичны*: вместо *aristokratisch*, он пишет—*aristokrätzig*, т. е. аристократы, которые почесываются, что не поддается дословному переводу. Переводчик эту задачу разрешил путем сдвига понятия *аристократ* со снижающим его понятием *крутить* (дела).

148. *Молиться в храме...* — В начале XIX века среди германских евреев началось так называемое «реформаторское» движение за обновление религиозной обрядности. Это движение возглавлял некий Якобсон, основавший первую реформированную еврейскую общину в гор. Зеезене. В 1818 г. такая же община была основана и в Гамбурге. В реформированных синагогах богослужение стало вестись на немецком языке, был введен орган. Реформированная синагога стала называться «Темпел»—«храм». Приверженцы традиционной обрядности и сторонники «реформации»—это и есть те две еврейские партии, о которых в этих строфах говорит Гейне. Будучи в молодости близок к еврейскому националистическому движению, Гейне понял затем, что еврейская проблема есть лишь часть общей социальной проблемы, которую может

разрешить только революция. Что же касается отношений поэта к мышинной суете религиозных «реформатов», то о нем достаточно ярко свидетельствует явно издевательский тон этих строф.

### Глава XXIII

149. *Как республика, Гамбург...* — Гамбург — один из так называемых «вольных городов» Германии, подчинявшихся непосредственно императорам, а затем прусским королям. Вольные города управлялись своим сенатом, являясь в некотором роде самостоятельными городами-республиками.

— *Флоренция и Венеция* — культурнейшие купеческие республики в Италии XIII—XVI вв. Особенно велика была культурная роль Флоренции, власть в которой принадлежала одно время династии банкиров-меценатов Медичи. Флоренция — средоточие итальянского искусства эпохи Возрождения. Флорентийцами были: Данте, Петрарка, Боккачио. Сравнивая Гамбург с этими итальянскими республиками, Гейне явно издевается над мещански-торгашеским Гамбургом.

150. *Шофнье* — гамбургский врач.

— *Вилле*, Франсуа — талантливый журналист и редактор, приятель Рихарда Вагнера, Франца

Листа, поэта Гервега и других выдающихся современников.

150. *С лицом, как альбом...*—т. е. с лицом, испещренным шрамами—следами дуэлей на рапирах. Среди немецкой военщины и студенчества каждый такой лишний шрам был предметом особой гордости.

— *Фукс, Фридрих-Август*,—бывший преподаватель, знаток философии и ярый атеист.

— *Канова, Антонио (1757—1822)*—итальянский скульптор, творец нескольких статуй Венеры. Очевидно, речь идет о наиболее известной Венере Кановы, находящейся в Палаццо Питти, во Флоренции.

— *Амфитрион*—тип щедрого, радушного хозяина, изображенный Мольером в пьесе того же названия.

151. *Что женщина—Еленой...*—Имеется в виду Елена Прекрасная, одна из героинь «Илиады», из-за которой якобы возникла троянская война.

152. *Дребан (Drehbahn)*—улица в Гамбурге, тогдашняя «биржа» проституток.

— *С приездом на Эльбу!*—Эльба—река, у устья которой стоит Гамбург.

154. *Лореточка*—лоретка (фр.)—девица легкого поведения.

154. *Гаммония*—латинское название г. Гамбурга. У Гейне—богиня-покровительница Гамбурга.

## Глава XXIV

156. *Певец, что Мессию воспел на благочестивой лире* — Клопшток, Фридрих - Готлиб (1724—1803)—автор поэмы «Мессиада» и патриотических драм исторического характера; один из родоначальников новой буржуазной литературы в Германии.

157. *Ностальгия*—нервное заболевание, вид меланхолии, вследствие тоски по родным местам.

— *Старушка милая*—мать Гейне, Бетти (Пейра). *Лотта* (Шарлотта)—сестра Гейне, в замужестве Эмбден.

— *И о почтенном старике...*—Речь идет о дяде поэта—банкире Соломоне Гейне.

158. *Мечтал о той Голгофе...*—Городской дом дяди поэта, банкира Соломона Гейне, на Юнгфернштиге, упомянутый выше, и его загородная вилла в Оттензее—места несчастной любви юного Гейне к его кузинам Амалии, а затем—Терезе.

159. *Всем его присным швабам...*—поэтам швабской школы.

## Глава XXV

161. *Ментор*—наставник, руководитель. Так звался друг Одиссея и воспитатель его сына

Телемака. Гейне здесь, повидимому, иронизирует над своим издателем Кампе.

161. *Сильфиды*—духи, обитатели воздуха, воздушные, грациозные создания.

— *Не уезжай, останься здесь...* — Розовые перспективы, которые вслед за этим предложением сулит поэту Гаммония,—это те надежды, которые окрылили немецкую буржуазию после вступления на престол (1840 г.) короля Фридриха-Вильгельма IV. Либералам казалось, что в Германии наступила политическая «весна». Но надежды эти не оправдались, конституции король не дал, все осталось по-старому. Лично Гейне в эту «весну» не верил с самого начала и в ряде стихотворений осмеял легковёрность либералов.

— *Гофман, Ф.-Л.*—гамбургский цензор с 1822 по 1848 г.

163. *Уже угасает волшебный огонь поэзии нашей германской...* — В уста Гаммонии Гейне здесь вкладывает презрительное отношение немецких консервативных кругов к политической поэзии 40-х годов, в публицистичности которой усматривалось падение так называемой «чистой» поэзии.

— *Король негритянский (Mohrenkönig)*—герой одноименной ранней поэмы Фрейлиграта.

164. *Елеазар*—раб-домоуправитель библейского патриарха Авраама.

## Глава XXVI

165. *Мать моя была тресковой царицей...*—насмешка над гамбургскими рыботорговцами. Треска служит Гейне неоднократно для насмешек над старой бюргерской Германией (см. гл. IX и X).

166. *Karolus Magnus*—Карл Великий. Ему приписывается основание Гамбурга (в начале IX в.).

— *Фридрих Великий*—Фридрих II, король Пруссии (1740—1786).

— *Ротшильды*—банкирская династия, родоначальником которой был гамбургский банкир Ансельм Ротшильд (1743—1812). Наиболее могущественными из них были лондонский и парижский Ротшильды. Имя Ротшильд стало в Европе нарицательным для финансовых магнатов, крупных банкиров, миллионеров.

167. *Тридцать шесть отечественных отхожих*—тридцать шесть немецких государств.

— Строфы 14—20 этой главы в немецкий текст поэмы «Германия» не входят и приводятся обычно среди вариантов. Очевидно, это одна из тех купюр в тексте, сделанных по цензурным соображениям, о которых говорит сам Гейне в предисловии к поэме.

168. *Со всей исторической школой...* — Историческая школа права—направление в юридической литературе начала XIX века в Германии. Историческая школа, в лице ее идейного вождя—

юриста Савиньи, доказывала, что право не есть продукт воли законодателя, что оно создается «народным духом», органически, подобно языку, что в основе закона всегда лежит обычай. Историческая школа была связана с политической реакцией, выражала настроения дворянско-феодалных кругов Пруссии и находилась под покровительством короля Фридриха-Вильгельма IV. Но выдвинув, хотя и в реакционной форме, идею закономерного развития права, историческая школа, против воли своих идеологов, проложила путь к реалистическому пониманию права, как выражения социально-экономических отношений.

169. *Сен-Жюст*, Луи Антуан (1767—1794)—якобинец, деятель Великой французской революции, друг и соратник Робеспьера, член Конвента и Комитета общественного спасения. Казнен после термидорианского переворота.

— *Есть в Фуле король...*—Фуле (Thule)—легендарный город. Песнь Гаммонии есть не что иное, как пародия Гейне на известную песенку Гретхен в «Фаусте» Гете. Здесь Гейне снова пускает стрелу в прусского короля Фридриха-Вильгельма IV. В сатире на него же, написанной через два года после «Германии», в стихотворении «Новый Александр»—Гейне снова прибегает к этой же пародии, начиная ею названную сатиру.

170. *Гименеевы гимны*.—Гименей—бог брака у древних греков.

## Глава XXVII

173. *Аристофан* (ок. 450—385 до н. э.)—древнегреческий поэт-драматург, автор ряда классических комедий. В молодости—выразитель интересов консервативной земельной аристократии, Аристофан обратил комедию, как политическую сатиру, в орудие борьбы против правящей демократии.

— *Камены* (римск. миф.)—божества, покровительницы искусств, соответствующие греческим музам.

— *Пайстетер* (Пайстетерос) и *Базилея*—герои Аристофановой комедии «Птицы». В этой комедии Аристофан осмеивает мечты полуголодных пролетариев о новой сытой и праздной жизни, выливавшиеся иногда в беспочвенные фантастические проекты. Герой «Птиц» Эвелпид и его товарищ Пайстетер, ненавидящие аристократию, поднимаются к птицам и в их царстве основывают утопический город «Нефелококкикию» (традиционно-русский перевод этого слова—«Гучекукуевск»). Пайстетер присваивает себе царское достоинство и женится на дочери Зевса—Базилее.

174. *«Лягушки»*—комедия Аристофана.

— *Жандармские хоры его сопровождали бы вскоре...*—В древнегреческом театре каждая

песа сопровождалась пением и пляской хора. Гейне имеет здесь в виду, что в Пруссии такие оппозиционные писатели, как Аристофан, были бы всегда под надзором или же высылались бы под конвоем жандармов за пределы государства, как это было в 1842 г. с поэтом Гервегом.

— *Король*—тот же Фридрих-Вильгельм IV (см. выше).

— *Отец же его*—король Фридрих-Вильгельм III (годы царствования 1797—1840).

175. *Пламена и стрелы страшной Зевесовых...*—Зевес (Зевс)—верховное божество древних греков, отец всех богов и людей, хранитель света и громовержец. Стрелы Зевеса—молнии.

— *Ковал поэт престарелый*—т. е. Гомер, повествующий о подвигах Зевса.

— *Олимпийская шайка*.—По верованию древних греков, все боги жили на горе Олимпе.

— *Иегова*—одно из библейских имен бога евреев.

176. *Дантов «Ад»*—первая часть «Божественной комедии» итальянского поэта Данте-Алигьери (1265—1321).

— *Терцины*—стихотворение, написанное трехстишиями, называемыми терцетами, причем каждый терcet связан с последующими рифмами, так что получается нечто в роде неразрывной стихотворной цепи. Такими стихами написана и «Божественная комедия».

## ОГЛАВЛЕНИЕ

<i>Г. Лукач. Вступительная статья . . .</i>	<i>7</i>
---	----------

### ГЕРМАНИЯ

Предисловие . . . . .	51
Прощание с Парижем . . . . .	59
Глава I . . . . .	62
Глава II . . . . .	66
Глава III . . . . .	69
Глава IV . . . . .	73
Глава V . . . . .	78
Глава VI . . . . .	83
Глава VII . . . . .	87
Глава VIII . . . . .	93
Глава IX . . . . .	97
Глава X . . . . .	100
Глава XI . . . . .	103
Глава XII . . . . .	107
Глава XIII . . . . .	110

Глава XIV . . . . .	113
Глава XV . . . . .	119
Глава XVI . . . . .	123
Глава XVII . . . . .	128
Глава XVIII . . . . .	131
Глава XIX . . . . .	135
Глава XX . . . . .	138
Глава XXI . . . . .	141
Глава XXII . . . . .	145
Глава XXIII . . . . .	149
Глава XXIV . . . . .	155
Глава XXV . . . . .	160
Глава XXVI . . . . .	165
Глава XXVII . . . . .	172
<i>Примечания</i> . . . . .	177

Редактор М. А. Лившиц  
Художественная редакция  
и общее наблюдение  
М. П. Сокольников  
Литерат.-техн. наблюдение  
А. Н. Плавильщиков  
Техред. И. А. Подсухин  
Старший конструктор книги  
М. И. Козлов

Сдано в набор 8/1 1934  
Подп. к печати 4/V 1934  
Тираж 5300. Уп. Гл. Б-33806  
Ас. 64. Инд. А-1. Авт. л. 7  
Печати. л. 13  $\frac{1}{2}$  + 1 вкладн.  
Бум. л. 62  $\times$  94 —  $\frac{1}{32}$ . Тип.  
знаков на 1 бум. л. 78848  
Зак. тип. 1146

Москва, Гознак. 1934.

*Цена 8 р.*

*Переплет 1 р. 50 к.*

